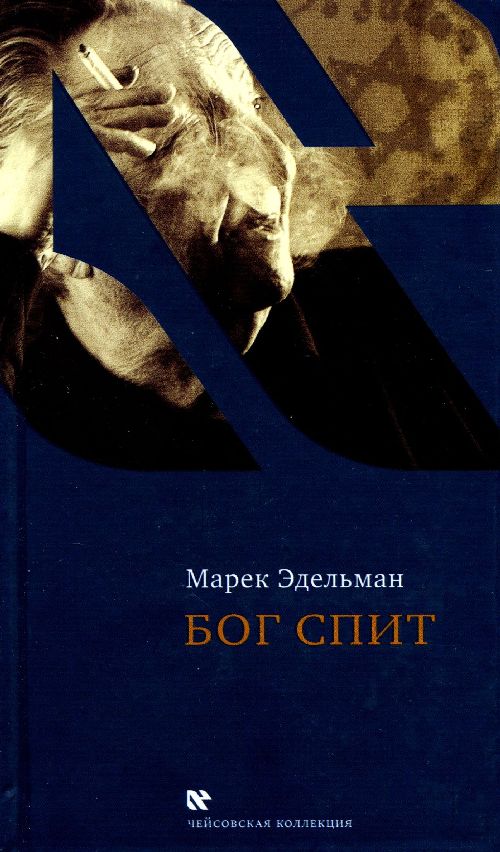
# Марек Эдельман

# Бог спит. Последние беседы с Витольдом Бересем и Кшиштофом Бурнетко



# Марек Эдельман

# БОГ СПИТ

Спасибо Вам, пан Марек. За все.

Авторы

## *Я Господь, Бог твой…*

*И изрек Бог все слова сии, говоря:*

*Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства.*

Когда мы сидим напротив такого человека, как Марек Эдельман, – убежденного атеиста, который, вне всяких сомнений, является образцом поведения для многих людей, в том числе и верующих, – естественно возникает вопрос: могут ли следовать заповедям те, кто отвергают Бога? Управляют ли эти заповеди – и если да, то в каких рамках, – нравственной жизнью приверженцев других религий и, в особенности, атеистов? Нужен ли Бог порядочному неверующему человеку? Впрочем, не следует ограничиваться атеистами – подобные проблемы волнуют всякого, кто сомневается, ищет, бросает вызов установлениям собственной религии, и возникают даже у людей глубоко религиозных, но способных задавать себе трудные вопросы.

И вообще: есть ли место Декалогу в современной западной цивилизации?

Весна 2007 года. К Мареку Эдельману приезжает группа учеников католической школы им. Эдит Штайн[[1]](#footnote-1) из Гливице. Это идея Яцека Шиндлера, директора школы и учителя, который организует для своих учеников встречи с великими людьми. К Эдельману он привозит школьников уже не первый год. Ребята рассаживаются где попало – на стульях, на кровати Эдельмана, на полу. Один мальчик, заметно волнуясь, спрашивает у Эдельмана:

– Вы верите в Бога?

Восьмидесятидевятилетний Марек Эдельман отвечает:

– Оставьте его в покое. Он спит.

###### \* \* \*

*– Важнейший вопрос: что для вас самое важное?*

– Когда‑то я уже говорил: самое важное – жизнь, а если уж есть жизнь, то самое важное – свобода. Но потом кто‑то отдает жизнь за свободу, и тогда неизвестно, что важнее. Точка. Браво. Что‑то в этом роде. И так ведется испокон веку.

Это где‑то напечатано, хватит повторять одно и то же. Не помню в точности, как я сказал, но сказано красиво.

*– Да, это хорошо.*

*Мы помним и другие очень хорошие слова, которые однажды от вас услышали. Вы рассказывали, что, когда вас выгнали из больницы, к вам пришел старый знакомый и сказал: «Если будет худо, я тебя спрячу». Вы так откомментировали эту историю: «Надо приютить битого. Надо спрятать его в подвале. Не надо бояться. И вообще всегда нужно быть против тех, кто бьет».*

– Действительно, когда меня выгнали из больницы, из Радома отозвался мой товарищ, Бляхницкий. Мы вместе работали, когда учились на третьем курсе. Он потом женился на богатой, уехал в Радом и там сразу стал ein grosse[[2]](#footnote-2) – заведовал отделением на пятьдесят коек. Хороший мужик. Сам больной – у него был стеноз митрального клапана. Но до того мы сдавали экзамен по специальности – мы уже были врачами, но здравотдел потребовал, чтобы все получили бумажку, иначе зарплата будет ниже и тому подобное. Ну и профессор Якубовский сказал: «Приходите завтра на экзамен».

Стоим мы в коридоре: Рышек Фенигсен, Бляхницкий и я – нашлось только трое таких дураков. И вдруг Бляхницкий теряет сознание. Мы спрашиваем: «Чего ты волнуешься?» Он: «Я не сдам». Я говорю: «Идиот, да он не будет тебя спрашивать. Если б хотел, давно бы просто выгнал». Входим в кабинет, профессор только попросил у нас протоколы, подписал, и до свидания.

Но потом, когда меня уволили, Бляхницкий уже был большая шишка, заведующий отделением в Радоме. У них с этой его богатой женой была квартира – три комнаты с кухней, с альковом и так далее. На дворе 1968 год[[3]](#footnote-3), и он приехал ко мне. У меня как раз была Эльжбета Хентковская, которую Бляхницкий знал, потому что раньше она у нас стажировалась. И он говорит: «Марек, я уже все спланировал. Альков мы отделим перегородкой, получится шкаф, и ты будешь через него входить и выходить. Сможешь у меня прятаться до конца жизни».

Он говорил так, будто снова была оккупация. Эльжбета от волнения расплакалась.

*– Всегда, независимо от того, кто этот битый, нужно быть с ним…*

– Красиво я сказал, а? Неужели вам не нравится?

*– Очень нравится.*

– Вот и хорошо. Какие тут нужны комментарии? Ясно ведь: одна фраза – и человек весь как на ладони. У Ромена Гари в «Страхах царя Соломона» героиня удивляется, когда врач (правда, ему уже девяносто лет) говорит, что ему тяжело подниматься к ней на шестой этаж. Она‑то знает, в каком подвале он прятался во время войны, и считает, что спасла ему жизнь, потому что тогда его не выдала.

По ее мнению, выдать человека, предать – это нормально, а не выдать – это геройский поступок! Стало быть, старенький доктор должен карабкаться к ней на шестой этаж. Она это заслужила – ведь она спасла ему жизнь.

Это нацистская ментальность, которая угнездилась в умах французов, а может, и других европейцев. Французы ведь были свободны. Париж был открытым городом. Немцы ездили туда развлекаться. Они мечтали попасть во Францию с армией. Пили коньяк, ходили в бордели к девочкам и так далее. Там им жилось потрясающе! Даже у нас в гетто можно было достать французские коньяки – немцы привозили их из Парижа, продавали спекулянтам, а те приносили в гетто. Нужно было только иметь деньги.

Да, в гетто были богатые люди. Торговали с немцами, друг друга обманывали, а торговля себе шла. Немцы не брезговали еврейскими деньгами.

Наоборот, были очень довольны.

Например, поначалу ходили к одному парикмахеру, потому что он хорошо стриг и брил. Казалось, теперь будет жить припеваючи. Но вдруг явились к нему, забрали все имущество, а самого застрелили. Такая вот ментальность: еврей – не человек. Понимаете?

Как говорит Ханна Арендт?

*– Банальность зла* [[4]](#footnote-4).

– Банальность зла… Да нет, зло – не банальность, оно заложено в человеческом характере. Это худшее в человеке. Человек по природе плохой – иначе он вообще не мог бы существовать. Настолько плохой, что сто или десять тысяч лет назад вырезал всех своих врагов. И выжил, потому что ел и мясо, и траву, всё. Приспособился. А конкурентов уничтожил.

Точно так же великие государства держались на том, что убивали всех вокруг – если только у них были лучше арбалеты и стрелы.

Да и сегодня тоже, хотя бы здесь, в Польше… Что делали с порядочными людьми при Качинских?[[5]](#footnote-5) Ведь чтобы прикончить человека, вовсе не обязательно его застрелить.

В том‑то и беда: люди – они плохие. Впрочем, если посмотреть в глаза, видно, кто хороший, кто плохой. Навещает меня одна врачиха, большой ученый, международные конференции, книги, ее на руках носили. А тут вдруг сажают ее мужа – он тоже врач. В чем‑то там его обвинили. Люди Качинского, кстати. Не знаю:

виноват он, не виноват… И она внезапно остается одна. Приятельницы боятся с ней здороваться. К тому же она ходит в хороших туфлях, в красивой блузке, продолжает неплохо зарабатывать… в общем, тут прибавляется самая обычная зависть, и отношение к ней становится все хуже.

Поганая у человека натура. Он – неудачный плод эволюции, цивилизация его еще не обуздала. Может, через тысячу лет станет другим. Внешне, возможно, не изменится, но цивилизация его обуздает.

*– Инструментом для обуздания может быть Декалог.*

– Религия. Декалог. Христос. Прекрасные вещи. Только внедрять их приходилось силой. Откуда взялись десять заповедей? Надо было как‑то укротить евреев, идущих из Египта в Израиль. Они же были негодяи, бандиты. Сорок лет не могли дойти до этого Израиля, потому что постоянно друг друга резали. Всем хотелось попасть в эту землю, где молочные реки и кисельные берега, но никто не знал, где она. Знали только предводители, а они натравливали одних на других. Наконец самая сильная группировка навязала остальным эти десять заповедей, чтобы их усмирить. А кто не подчинялся, тех отправляли на тот свет. Десять заповедей навязали насильно – вот как обстоит дело с человеческой моралью.

*– Но религия как‑то цивилизует людей.*

– Да. Некоторых. Но не всех. И нецивилизованные сильнее, потому что десять заповедей смягчают характер человека, не позволяют ему взять в руки нож, чтобы убивать всех вокруг. Один мой приятель заявлял: «Когда меня бьют по одной щеке, я подставляю другую». А я ему на это: «Знаешь, это не так уж и хорошо». А он: «Ну да, но я ведь верующий…»

*– А может, все же какая‑то из заповедей для вас важна и актуальна?*

– Какая заповедь? Перестаньте. Заповеди – это сказка…

###### Шевах Вайс

Нужно ли безоговорочно верить в одного Бога, чтобы прочитать кадиш[[6]](#footnote-6) на кладбище?

Выступая несколько лет назад в Едбавне[[7]](#footnote-7), я вспомнил своего деда, перед войной прощавшегося на вокзале с родственниками, которые уезжали в Израиль. Он сказал мне тогда: «Сынок, только оставайся евреем».

С тех пор я не перестаю задавать себе вопрос: что значит быть евреем? И что значит быть евреем после Холокоста? Забыть? Простить? Отомстить? Поверить, что такое никогда больше не случится? А может быть, построить еврейское государство, в котором наша судьба будет в наших руках и мы будем стремиться к спасению в земной жизни? <…>

Наше наследие включает в себя сто шестьдесят девять слов десяти заповедей, которые изначально были моральным законом для нас и для всей западной цивилизации. Это – свидетельство, не требующее подтверждения. Я знал, что быть евреем значит жить у себя на родине и никогда не спускаться с нравственных высот человечества.

Марек Эдельман был атеистом и не очень любил Израиль. Он считал, что это не еврейское, а религиозное государство. В Израиле действительно много религиозных евреев, но вместе с тем много неверующих. Эдельман говорил, что это не имеет значения, поскольку государственная идея такова: все преследуемые евреи – а преследуют их за веру – приезжают и становятся гражданами Израиля.

Да, в широком значении слова вера в одного Бога для Израиля важна. Но разве это странно или непонятно?

Возьмем довоенные годы… Еврейского государства еще не было. Самым важным для евреев тогда было то, что их преследуют. Леон Пинскер[[8]](#footnote-8), в России испытавший на себе, что такое антисемитизм, в конце XIX века опубликовал книгу, в которой писал об антисемитизме как об эпидемии, которой никогда не будет конца. И говорил, что обрести свободу можно, только покинув страны изгнания и вернувшись на историческую родину.

Но как бы сегодня выглядел еврейский народ, если бы любимая политическая организация Марека Эдельмана Бунд[[9]](#footnote-9) победила и евреи получили автономию? Оказались бы они в безопасности? Нет.

Невозможно, описывая историю еврейского народа, обойти вниманием еврейскую религию. Лишенный корней и религиозного самосознания народ не обрел бы и своего государства. Быть может, эта религиозность стала причиной усиления антисемитизма. Тем не менее варварское преследование евреев не имело и не имеет никаких оснований.

Однако вера в одного Бога чревата и другими бедами, связанными с Холокостом. Еще в качестве депутата кнессета я побывал в Польше с группой израильтян, в детстве ставших жертвами освенцимских экспериментов. Тогда на развалинах синагоги в Тарнове мы увидели надпись: «Здесь убивали людей, а Бог молчал». Да, в нашей религии нет однозначного ответа на вопрос, где был Бог во времена Холокоста.

Одни говорят, что человек не в состоянии понять Бога. Другие – что у Бога был план, который нам не дано постичь. Третьи – что Бог во времена Холокоста не видел того, что творилось… Или считал, что так и должно быть… Или – хоть он и Бог – неспособен остановить преступление…

А часть евреев сочла, что Бога нет.

Я сам все еще надеюсь, что смогу ответить на свой вопрос.

Шевах Вайс – израильский публицист и политик. Родился в 1935 году в Бориславе (Львовское воеводство, сейчас Украина); связан с Партией труда (Авода), был спикером кнессета, послом Израиля в Польше. Председатель общественного совета Мемориального института «Яд Вашем», доктор политологии, профессор отделений средств массовой информации в Хайфском и Варшавском университетах, автор нескольких десятков книг – в том числе детских, научных (в области политологии) и по тематике Холокоста.

## *Да не будет у тебя других богов, кроме Меня!*

*Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли.*

*Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня.*

*И творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди мои.*

Идет ли тут речь только об отношении к Господу? Или также об иерархии целей и ценностей в земной жизни? Понятно же, что, если верующий человек, вместо того чтобы служить Богу, предпочитает, например, добиваться финансового успеха, он нарушает вышеупомянутые правила. Ну а если эти правила нарушает человек неверующий?

Есть и более серьезная проблема: в жизни как верующих, так и неверующих порой возникают экстремальные ситуации, когда люди отрекаются от Бога ради собственного спасения или спасения своих близких. Не говоря уже о таких запредельных ситуациях, когда мы действительно не видим Бога. Нарушаем ли мы в таких случаях эту заповедь?

В гетто вера в Бога иногда приводила к тому, что верующие погибали первыми – например, ортодоксальные евреи из Агуды…[[10]](#footnote-10)

Весной 1942 года в Варшавское гетто, куда прибывали эшелоны, привозившие людей из ликвидируемых в других местах гетто, попали ортодоксальные евреи из Восточной Польши. Это была практически единственная группа, демонстративно славившая Бога. Спустя годы многие историки Холокоста будут анализировать связь поведения человека с его религиозностью.

###### \* \* \*

*– В отличие от большинства еврейских детей, вы воспитывались в нерелигиозной семье. Как у вас дома относились к еврейским традициям: вере, религиозным праздникам, обрядам? К примеру: соблюдали кошерность пищи?*

– Господи, что им от меня нужно, ведь я был ребенком! Мне было лет восемь, девять. Во время еврейских праздников, когда все отправлялись куда‑то веселиться, мы с мамой ходили в оперу. Вот и все. Так было, когда я был маленьким мальчиком. В моей биографии это, правда, несущественная страница. Про все, что было до войны, я вам давно рассказал, а вы цепляетесь как банный лист: скажи, ты чихнул налево или направо? Повторяю: все, что было до войны, стерлось. Поймите это.

*– А когда евреев уже загнали в гетто – верующие, глубоко религиозные люди соблюдали традиционные ритуалы? Молились? Как они себя вели?*

– У меня с ними не было никаких контактов.

*– Но вы хотя бы должны были это видеть. Ведь непосредственно перед большой акцией по уничтожению гетто вы участвовали в совещании представителей политических партий, на котором присутствовал также представитель Агуды – партии религиозных евреев.*

– Он тогда говорил: Бог так хочет, Бог нас спасет… Но с Агудой в гетто не очень‑то считались. Глава юденрата, Адам Черняков[[11]](#footnote-11), подобрал себе несколько сотрудников из этой партии, но сама организация не относилась к числу тех, которые что‑либо решали. Один из этих людей был владельцем похоронного предприятия, у другого имелась еще какая‑то, тоже полезная фирма, то есть они были нужны общине. Но помимо этого никакой роли в общественной жизни не играли. Деньги какие‑то они получали, но ни в движении сопротивления, ни в культурной жизни участия не принимали. В гетто, например, по вечерам – конечно, если было тепло – почти в каждом дворе проходили разные культурные мероприятия, спектакли, сольные концерты. Ворота были заперты, выходить запрещалось – комендантский час, но, пока еще было светло, писатели читали свои произведения, дети пели, актеры устраивали спектакли. Будто бы нормальная жизнь в нормальном городе…

Но организовывали все это не религиозные евреи, а просвещенная общественность. Это делали мы: Бунд, левые и так далее.

Разумеется, религиозные евреи со своими бородами и пейсами выделялись, так что немцы хватали их, ставили на бочки, брили принародно, часто все это фотографируя. Вскоре таких стало намного меньше – никто не хотел из‑за бороды навлечь на себя беду.

Да, я помню этих «мертвых хасидов». *Ди тойте хасидим.* Последователи ребе Нахмана из Брацлава[[12]](#footnote-12), которые после его смерти так и не признали никого своим главой.

Они жили на Дзельной, 40. Приехали с Украины, молились, прекрасно пели, танцевали, но со временем их становилось все меньше. Сначала они сбрили бороды, потом сняли эти свои лапсердаки, а потом все бросили и растворились где‑то в гетто.

*– Верующие евреи придерживались мнения: «Бог так хочет» или все‑таки по мере приобретения в гетто все более страшного опыта начинали терять веру и говорить: «Бога нет», раз он допускает такие ужасы и уничтожение людей?*

– Какое там… Они говорили: «Бог так хочет», но кто так думал? Все ненавидели этого Бога, который позволяет убивать людей. Немцы ведь начали убивать сразу. Сразу поставили этого еврея на бочку. Ну что вы зациклились на этой религии…

*– Но человек, если ему плохо… По крайней мере некоторые тогда ищут Бога. Ждут от Него помощи, спасения.*

– Не знаю. Я не из таких. Никто из моих друзей и знакомых, никто из моего окружения не искал Бога – все только ненавидели Гитлера. Что это за Бог? Где он? Его не существует. Если Бог велит убивать людей, значит, Бога нет. Кто о нем думал? Ты знал: если стреляют, надо убегать, чтобы в тебя не попали. При чем тут Бог?

Впрочем, обыкновенные люди часто даже не знали, как себя вести, когда стреляют. Не понимали, что иногда от пули можно уклониться. Так что толпа, которую гнали на Умшлагплац[[13]](#footnote-13), хоть в нее и стреляли, шла дальше… Кто‑то падал, другие его обходили… Проблема Бога вообще не важна. При гитлеровском бандитизме ее не существовало. Важно было одно: выжить.

*– Вы никогда не были верующим? Хотя бы чуточку?*

– Не занудствуй, как старая дева.

*– Нас трудно назвать примерными католиками, но какое‑то отношение к Господу Богу у нас есть.*

– У вас есть, а у меня нет.

*– Ханна Кралль придумала для своей книги о вас гениальное название: «Опередить Господа Бога»* [[14]](#footnote-14).

– Это совсем другое. Это метафора: не поддаваться слепому року, не сдаваться без борьбы. Что это значит – Господь Бог? Ведь не Господь Бог отнимает жизнь, ее отнимает болезнь. Идея в том, что надо оставаться с больным человеком до самого конца и, несмотря на все препятствия, стараться продлить ему жизнь. Вот что такое «опередить Господа Бога». В книге еще поясняется: пока он не погасит свечу. Это красиво звучит, но смысл понятен: ты должен сохранить самое главное. И поэтому надо пытаться «опередить Господа Бога» – наперекор природе, потому что Господь Бог – не природа. Понимаете? Болезнь – не результат чьей‑то злой воли, а так распорядилась природа. В названии книги использовано популярное понятие – «Бог». Но фактически речь в ней идет о человеке – о том, какой он, какова его жизнь; о том, что он хочет, даже наперекор природе, спасти то, что считает ценностью. «Опередить Господа Бога» – это значит опередить природу. Нет наверху никого, кто бы указывал: «Ты должен умереть!» Никто там не сидит и не указывает: вот этот должен умереть.

*– Мы как раз были здесь у вас, когда к вам приехала группа учеников католической школы им. Эдит Штайн из Гливице. И один из этих ребят спросил про Господа Бога. Вы сами тогда сказали ему, что Бога придумали люди как своего рода костыль: когда тяжело, человек пытается на него опереться.*

– Не знаю… Поймите, мне недоступна вся эта мистика. Когда человек в безвыходном положении, у него нет надежды. Я не видел людей, которые в таких случаях искали бы Бога.

Скорее, они искали не Бога, а где бы спрятаться.

###### Тадеуш Славек

«Да не будет у тебя других богов, кроме Меня», – сказать так, по‑моему, можно только, если претендуешь на свою исключительность. Бог говорит: Я – самый главный, и только ко Мне нужно прислушиваться. Внимание человека должно быть приковано к Богу, больше того – к ЭТОМУ конкретному Богу. Однако нет правил без исключений, и в этом правиле тоже нетрудно их найти: там ведь сказано, что нельзя ставить превыше ЭТОГО Бога других богов, но это не означает, что человек не может вознести выше Него какие‑то дела, предметы, идеи, каких‑то людей. Казалось бы, Бог должен ревновать лишь к Своим божественным сестрам и божественным братьям, но ни к кому больше. Если пойти на шаг дальше, то можно сказать, что Бог посылает нам испытание. Нам предлагается признать, что мы не можем ничего поставить превыше Бога – тем самым будет установлен нерушимый порядок и нам гарантирован полный покой (шире говоря – «святой покой»): ведь, коли мы располагаем чем‑то, что «превыше» всего, ничто не в состоянии нас потрясти и даже взволновать. Иными словами: при таком положении вещей все, что нас волнует и вызывает сомнения, следует воспринимать с абсолютным спокойствием. Но мы можем поступить иначе: сочтя, что Бог имел в виду только Своих божественных сородичей, вознести превыше Него то, что ниже, то, что обречено на страдания и подвластно воле судьбы. Тогда, согласно божественному наставлению, можно то, что небожественно, вознести выше того, что свято, и оно «затмит» Бога, который окажется лишь в его тени.

Беатификация небожественного – двойное возвышение человеческого. Во‑первых, дела людские ставятся так высоко, что даже Бог уступает им место. Это отнюдь не означает, что человек узурпирует место Бога; возвышается небожественное, то есть тут и речи нет о тех, кто обладает силой и могуществом, ровно наоборот: ущербные и слабые, страдающие и больные ставятся выше Того, кому неведомы недуги. Но есть и иная беатификация: когда возвышение носит не вертикальный, а горизонтальный характер. Это – вынесение не «выше», а «за пределы»: то, что неожиданно выносится, на самом деле переносится через границы своей территории, покидает свое изначальное место, расстается со своим, часто тягостным, рутинным существованием с его закоренелыми привычками и предубеждениями и в результате приобретает дистанцию по отношению к самому себе.

«Да не будет у тебя других богов, кроме Меня», – в этой фразе слышится и другой голос. Начиная, по меньшей мере, с эпохи Просвещения так обращается к нам наука, которой в нашем мире придается столь большое значение. Мы мечтаем, чтобы ее слово было последним и решающим. Однако сегодня рассматривать две трактовки вышеупомянутого «вынесения» следует очень осторожно. Естественное стремление науки – подняться «выше» переменчивой и нестойкой действительности, ибо наука формулирует законы, по ее мнению, устойчивые, неизменные. Наука говорит: он страдает. Но второй вариант трактовки «вынесения» преподносит нам другой урок: приняв этот вариант, мы оказываемся «за пределами» любой абстрактной обобщенности, где нет уже никакого порядка и покоя, где рассматривается только конкретный случай. Не какой‑то безразличный мне он страдает, сейчас страдаю я. И тогда я ставлю кого‑то «впереди» Бога. Даже если я не признаю святым того, что для той или иной конфессии свято, я «примечаю» (хотя это очень неудачный глагол) Бога, но – на другой линии, в другом месте. Только такое место «божественно» (сейчас это слово кажется мне удивительно неподходящим). Я соблюдаю заповедь: нет у меня другого бога, кроме ЭТОГО Бога.

Тадеуш Славек – поэт, переводчик, эссеист, литературовед. Родился в 1946 году. Много лет связан с Силезским университетом (был его ректором); специалист по истории английской и американской литературы, переводил, в частности, Уильяма Блейка, Аллена Гинзберга, Шемаса Хини, но также Джона Леннона и Джима Моррисона, потому что музыка – его хобби: он давно уже записывает чтение стихов и музыку для контрабаса (форма «эссе для голоса и контрабаса»). Публицист еженедельника «Тыгодник повшехны», печатался также в журналах «Брульон», «Одра» и др.

## *Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно…*

*Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.*

Конечно, человек верующий не должен клясться всеми святыми с дурными намерениями либо забавы ради – это грех. Но разве только о том речь? Разве, к примеру, политические акции, проводимые во имя Бога, не злоупотребление его именем? Gott mit uns?[[15]](#footnote-15) Но быть может, то же самое можно сказать и про борьбу в защиту религиозных чувств, оскорбленных публикацией карикатуры на Магомета или концертом поп‑звезды Мадонны?

Однако можно из духа противоречия спросить: а что, довериться другому человеку как Богу – ошибка? А если именно таким образом в полной мере проявляется человечность в экстремальных ситуациях? Скажем, довериться врачу…

И опять же: что сегодня должна означать эта заповедь для неверующего?

Когда врачи и младший медперсонал лодзинской клиники, сотрудники Марека Эдельмана, вспоминают, какая атмосфера царила у него в отделении, иногда они говорят, что доктор для больных был как Бог Отец. Ему, например, хотелось, чтобы медсестрами были очень красивые женщины: пускай пациенту кажется, будто над ним склоняется ангел. Ну а прежде всего – больных лечила уже сама вера в то, что делает Доктор.

###### \* \* \*

*– Но ведь больные, с которыми вы имели дело, уповали на Господа Бога?*

– По‑разному бывало. Да, одна пациентка сказала: «Мой муж сидит одесную Господа Бога и следит, чтобы операция удалась». Потом она вышла замуж в Швеции, ей было семьдесят лет, хорошая была баба. Да, люди и такое говорили. Но разве Господь Бог научил профессора Моля, как правильно накладывать шов?

*– Моля – нет, но людям придавала сил вера в то, что Господь Бог на их стороне.*

– Все хотели жить. И точка. Если бы Господь Бог желал отправить их на тот свет, они бы все равно сопротивлялись. Одна больная, лежа в предоперационной палате, говорила: «Сколько можно ждать, пускай меня разрежут, пускай уже придет конец». Но она имела в виду не конец своей жизни, а конец болезни и страданий. Она верила не в Господа Бога, а в профессора Моля. Ясно? Существуют какие‑то общие понятия – довольно темные, но до человека их смысл доходит. Человек понимает, что такое боль. И хочет жить, поэтому хватается за любую соломинку. Достаточно раз в жизни увидеть солнце, чтобы впредь подсознательно отдавать себе отчет в том, что, когда наступит конец, не будет уже ничего. И никогда больше он солнца не увидит. Потому что *потом* уже ничего нет. Только он не очень‑то понимает, что значит «ничего». Надо там побывать, чтобы это понять.

*– Вы когда‑то рассказывали, что однажды сами словно бы побывали по другой стороне. Вы попали в аварию и увидели это «ничего».*

– Да. Я знаю, что там ничего нет. Ничего. Там ни темно, ни светло, ни холодно, ни тепло… Надо только понять, что это такое. Испокон веку организм живет, умирает и становится удобрением для последующих организмов.

Так уж устроена природа. Все очень просто.

*– Смерть пациента вы переживали так же, как смерть товарища там, в гетто?*

– Не знаю. Это вообще нельзя сравнивать. Нет таких мерок. Это разные вещи: другие времена, другая смерть. Ведь в больнице никто не умирал потому, что кому‑то вздумалось его убить. Человек умирал, потому что не было антибиотиков и других лекарств, потому что то, сё, пятое, десятое, потому что он был болен. Это естественная смерть. А не смерть оттого, что тебя убивают. Это вообще вещи несравнимые.

*– Но вы воспринимали каждую такую смерть как свое поражение?*

– Что значит «свое поражение»? Мой профессор говорил, что к смерти нужно привыкнуть, потому что каждый человек должен когда‑нибудь умереть, а медицина не всемогуща. Так что нужно было только – как сейчас говорят – обеспечить людям достойное умирание.

*– Вас трижды выгоняли из разных больниц…*

– Ну и что с того?

*– Каждому требуется в жизни своя точка отсчета, свой идеал. Хорошо, пускай не Бог – может ли быть таким идеалом какой‑нибудь великий человек? Какой‑нибудь авторитет? Говоря сегодняшним языком – идол?*

– У каждого есть свой идол. Моими идолами были те, кто в 1939 году организовывали schutzbund[[16]](#footnote-16) – такие отряды самообороны – и боролись с фашизмом. Для кого‑то другого идол – Папа Римский. У каждого свои идеалы, в которые он верит.

Я верю в мудрый социализм. В детстве для меня не было ничего лучше. Мама мне говорила: «Поедем со мной в Вену, увидишь социализм». Она поехала, а я, идиот, нет. Вот и все.

*– Что для вас, бундовцев, было самым важным?*

– Бунд не был ни большой политической, ни – впоследствии – военной силой, он был моральной силой. Нравственные ценности притягивали к Бунду десятки тысяч людей. Перед войной большинство еврейских мандатов в Варшавском городском совете было у бундовцев – это кое‑что значит. Это значит, что вроде бы религиозные евреи голосовали не за религиозные партии, а за то, чтобы человек человеку был друг. Именно это провозглашал Бунд.

*– Что сейчас осталось от этого социализма?*

– Я необъективен, но на самом деле идеология Бунда победила. Победила хотя бы главная его идея: дружба и защита слабых, – выразившаяся в требовании культурно‑политической автономии для меньшинства. Все говорили, что это невыполнимо. До войны культурно‑политическая автономия нигде не функционировала. Разумеется, умные люди не сомневались в ее необходимости – просто негоже было пренебрегать слабыми, а тем более преследовать их и убивать. Для социалистов слабый был сильнейшим.

Потом была война. Гитлер уничтожил Бунд.

Но сегодня культурно‑политическая автономия в Европе существует. Пример – такой взрывоопасный регион, как Испания. Каталония – самостоятельная страна, со своими законами, своим языком. У басков самая большая культурно‑политическая автономия в Европе, и никто не собирается ее у них отбирать, хотя эта гнусная ЭТА[[17]](#footnote-17) все время мутит воду. Сейчас в Европе сложные проблемы решаются путем переговоров, а не с позиции силы. Это колоссальное достижение, к которому Бунд приложил руку. Хоть в Европе он и был маргинальной партией, но обладал моральной силой.

*– А другие идеалы, кроме этого важнейшего: дружба и защита слабых, у Бунда были?*

– Все крутилось вокруг этого. Когда в 1940 году немцы свозили на Банковую площадь подкупленных варшавских головорезов, чтобы те били евреев, именно бундовские организации защитили обитателей гетто.

– А у сегодняшних социалистов есть хоть что‑то общее с бундовцами?

– У меня с ними практически нет контакта. Сейчас это другой мир. Не знаю, не могу ничего сказать. Я ведь имел дело с довоенными деятелями… Не стану называть фамилии, они вам ничего не скажут, но международное социалистическое движение объединяло прогрессивные силы.

Кстати, когда сербы устроили на Балканах этнические чистки, кто меня поддержал в Европейском парламенте? Именно социалисты. Социалисты. А возьмите Бернара Кушнера. Он социалист. Да, Кушнер член правительства Саркози, но он прирожденный бундовец, приверженец лучших идей социализма – идей равенства, любви. Он спасал вьетнамцев, которые на лодках по морю удирали с детьми из своей страны.

Но чтобы люди помогали друг другу, их надо специально воспитывать. Это как с ребенком: все зависит от детского сада, школы, от учителей.

Сегодня дело социализма выиграно, так сказать, с походом. Социалистические лозунги переняли христианские демократы, неравнодушные к слабым. Иногда они идут даже дальше, чем социалисты, это уже европейский канон. Сейчас идеи социализма в Европе реализуют совершенно другие люди. До войны никому и не снилось, что рабочий будет иметь то, что имеет сегодня. Ведь он участвует в управлении предприятием, часто являясь одновременно и работником, и совладельцем, а в отпуск может поехать на Майорку. Что тут говорить: социализм большего и не хотел. Никому в голову не приходило, что рабочий станет ездить на Майорку.

Социализм выиграл больше, чем было задумано, потому что стал международным движением, в котором участвовали прекрасные люди. Они создали нынешнюю Европу, и Европа эта – социалистическая. И не важно, *кто* это делает: Меркель или Шмидт, – важно, *что* они делают. Никаких прав у рабочих эта Европа не отняла, напротив, хорошо их кормит.

А поскольку социализм победил, социалистическое движение как идея угасло. Но победный канон сохранится. Вероятно, в разных вариантах. Например, моей дочке, живущей во Франции, не нравится Саркози. Ей хотелось, чтобы государством управляла социалистка. Ну ладно, но сама она, между прочим, поднялась по служебной лестнице – была директором, а стала обер‑директором, – так что пускай не умничает, никто ее не притесняет. У нее другая беда – она целый час добирается до работы, но тут виноваты размеры города, а вовсе не социализм или фашизм, Саркози или де Голль.

*– Так что же сейчас осталось сделать социалистам?*

– Практически немного. Они должны оберегать свою веру, потому что всегда найдутся люди, пышущие ненавистью. С ними надо постоянно быть начеку. Поэтому прогрессивное движение всегда должно находиться в оппозиции к правящим верхам. От власти в голове начинается кавардак, поэтому нужно следить, чтобы она доставалась хорошим людям, которым ты доверяешь и которые разделяют твои идеи. Если у вас общие идеи, а у них вдобавок есть административный аппарат и они не одурели от власти, возможно, все будет в порядке. Но если власть вскружила им голову, если она становится сама для себя идеологией, быть беде.

*– Вы говорите, что для вас в Бунде самым важным были дружеские отношения между людьми. А в христианстве важнейшая из заповедей – «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это ведь одно и то же.*

– Была у меня ассистентка – такая же католичка, как вы. Она мне говорит: «Между социализмом и католицизмом нет разницы – по сути, и там, и там одни и те же десять заповедей». А я ей на это: «Верно, заповедей столько же, но практика разная».

А потом она развелась с мужем, еще трижды выходила замуж – такая вот примерная католичка.

Надо посмотреть иначе: десять заповедей – это одно, а деятельность Церкви – совсем другое. Декалог – не собственность католиков, он вообще не является чьей‑то исключительной собственностью. Десять заповедей – общечеловеческие наставления. Их принес людям Моисей, то есть они появились, когда мир еще только рождался – мир цивилизованный, которому известна письменность. Декалог давал рецепт, как жить, служил тому, чтобы люди друг друга не поубивали. И эти десять заповедей нужны человечеству до сих пор. Конечно, все эти истории про Моисея и его скрижали – миф. Но такая мораль должна была победить, и это не миф, а правда.

Или вспомните историю бегства евреев из Египта: как Господь Бог заставил Красное море расступиться, и они перешли через него посуху, и так далее. Это, конечно, тоже легенда, но легенда прекрасная: слабые вдруг становятся нравственной опорой мира. В египетских поверьях, например, и речи нет о защите слабого. Это началось только с Моисея.

*– Почему именно тогда?*

– Потому что слабые евреи, чтобы выжить и чтобы мир не погиб, придумали такой рецепт. Они не из практики его взяли – тогдашней практике этот рецепт противоречил, – а мудро придумали. Все же рассказы на эту тему – только красивые выдумки, не более того.

Но правда в том, что слабые придумали для всего мира великолепный рецепт в форме Декалога. Благодаря этому мир вообще может существовать и развиваться.

*– Вы продолжаете верить, что мир может исправиться?*

– Не знаю. Может быть, через десять, пятьдесят или сто лет ужасная человеческая природа немного исправится. Может, ненависти станет чуть меньше.

Человек всегда ненавидел и ненавидит всех других существ. Он их уничтожал и в конце концов подчинил себе всё. Происходившие в человеческом организме мутации ни к чему хорошему не привели. Изменения должны пойти в другом направлении. Этому поспособствует цивилизация. Природу человека меняет культура, меняет наука, меняет всеобщее образование. Меняет и то, что люди видят: можно слетать на Луну и вернуться обратно. Ведь за пределами Земли, все эти галактики, – уже Божий мир. Однако человек до них добирается.

И оказывается, что Господь Бог – не всё.

*– Но это не должно свидетельствовать против Господа Бога.*

– Это свидетельствует о том, что главное – человек и его разум.

Ведь дело обстоит не так: если Господь Бог хочет меня убить, я подставляю голову. Неправда, человек не подставляет голову, он убегает.

И где же здесь Божий промысел? Это нормальная реакция: человеческий вид пытается спастись. Вот в чем его сила.

Посмотрите на религиозность в концлагерях. Разве человек, которого мучают, бьют, который умирает с голоду, может верить, что так и должно быть, ибо этого хочет Господь Бог? Нет‑нет. Этого хочет другой человек – плохой человек, продукт неправильной мутации.

*– Но ведь именно в концлагере отец Кольбе* [[18]](#footnote-18) *по религиозным мотивам отдал жизнь за другого человека.*

– Не надо обобщать: среди нескольких миллионов, прошедших через Освенцим, нашелся только один отец Кольбе. Впрочем, и тут не все до конца ясно: у человека, добровольно идущего на смерть, могут быть разные мотивы. Один готов умереть, потому что больше не в силах жить, другой потому, что у него есть любимая женщина и он жертвует собой ради нее, третий – под влиянием какого‑то импульса.

Был в гетто паренек, который закрыл рукой живот своей невесты – она была на восьмом месяце беременности, – когда увидел, что латыш целится ей в живот из винтовки. Пуля оторвала этому парню кисть. Ребенок не выжил, его потом все равно убили. Но она выжила.

Да ладно, это не важно…

Чем перед Господом Богом провинились девятнадцатилетние девушки? Почему она должна была быть убита? Если Господь Бог судит всех, то, видно, тогда он отвернулся. Лег спать.

Видимо, вовсе не Бог правит миром. Миром правит природа. А она в XX веке сделала человека самым сильным зверем.

Это не имеет никакого отношения к Господу Богу. Плохие люди заслоняются чем угодно. В том числе и Господом Богом. А поступками людей управляет не Господь Бог, а их собственная дрянная натура. Отец Рыдзык[[19]](#footnote-19) тоже для некоторых хорош, захват крайне правыми монастыря в Освенциме[[20]](#footnote-20) тоже многие одобряли, пока Папа не топнул ногой…

Вы прямо как этот Рыдзык – во всем ищете связь с религией.

*– Ничего подобного. Мы только хотим узнать, как вели себя люди. Человек слаб: если он чего‑то боится, то первым делом пытается убежать и спрятаться, но когда уже находит себе убежище, начинает молиться: «Богородица Дева Мария, радуйся…»*

– Я не молюсь. Мне важнее, чтобы, если уж я сумел спрятаться, в убежище у меня был сухарь. От молитвы немного толку, а с сухарем, возможно, удастся выжить.

Не мучайте меня, от ваших глупостей уши вянут. Интересно, откуда у вас эти рыдзыковские взгляды?

Господь Бог, вера, шмера… Религия? Неправда, что Польша – религиозная страна. Почему так считается? Потому что люди ходят в костел? Да это же демонстрация! При коммунизме в костел ходили назло коммунистам. Помню, в 1946 году, в воскресенье, на Крупувках в Закопане – толпа молодых людей. А накануне я видел, как они пили. Я им об этом говорю и в ответ слышу: «Так ведь сегодня воскресенье, мы пришли в костел показать, что мы против красных». Эти парни и девушки были такие же религиозные, как я, а то, что в костел ходили, – так это была политика.

Перестаньте рассказывать сказки, будто тот, кому удалось спрятаться, читает молитву. Как же, много тебе эти молитвы помогут! – лучше постарайся запастись сухарями.

###### Ярослав Маковский

Вам будут говорить, что незаменимых людей нет. Чепуха. Вас будут убеждать, что бескомпромиссных людей нет. Вздор. Вам будут втолковывать, что храбрых людей нет. Не верьте. И наконец, вам скажут, что благородных людей нет. Ложь.

Человеком, обладающим всеми перечисленными достоинствами, которые сейчас в дефиците, был – хотя и сердце, и разум, и воля восстают против употребления прошедшего времени – Марек Эдельман.

Однако признаюсь: смерть пана Марека не повергла меня в печаль. Первым делом меня охватил страх. Перед чем? Кто теперь скажет нам, слабым духом, занятым собой и своими проблемами, что лихо не спит? Ведь после «пучины зла», которую человек уготовал себе в XX веке и в которой пан Марек побывал (и активно действовал), стало ясно, что можно не верить в Бога, но не верить в Сатану – это уже чистое безумие.

Меня пугает то, что мир остался без пана Марека, поскольку он – пожалуй, как никто другой – обладал даром разоблачения сатанинских проделок. Он бил тревогу, когда живущий в человеке зверь пробуждался от недолгого сна и высвобождался из оков, чтобы сеять опустошение и разжигать пожары. Кто сегодня предостережет нас, укажет, что мы приносим жертвы и поклоняемся ложным богам? И потому мне страшно.

Ярослав Маковский – журналист и публицист, по образованию философ и теолог. Автор книг «Десять важных слов. Беседы о Декалоге» (2002) и «Женщины учат Церковь» (2007). Вместе с Кшиштофом Бурнетко беседовал с Мареком Эдельманом («Не жалеть немцев»).

## *Помни день субботний, чтобы святить его…*

*Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; А день седьмой – суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих.*

*Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а в день седьмый почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его.*

Чтить Бога, «помня» свободный от работы день? А может, стоит еще и помнить о важных событиях и людях?

Вечером первого мая 1943 года, когда восстание в гетто догорает, немногочисленные группы бойцов с винтовками без патронов прячутся в полусожженных подвалах, а последняя более‑менее организованная группа Еврейской боевой организации[[21]](#footnote-21) готовится перейти по канализационной сети на арийскую сторону, в одном из бункеров отмечают праздник Первомая.

Бойцы поют «Интернационал»…

###### \* \* \*

*– У бундовцев или социалистов тоже были свои святыни и свои авторитеты. Взять хотя бы 1 мая.*

– Праздник был, но в приказном порядке никого ни к чему не принуждали. Например, не клеймили, не осуждали кого‑то сурово, как это делает Церковь. Вчера ты занималась любовью с неким Иксом, и теперь тебе не отпустят грехи, Господь Бог тебя за это накажет. Такого в Бунде не было. Любить ты мог… ни на что не взирая. Социализм это допускает: люби кого угодно. Черного, желтого, еврея, поляка. У католиков не все так просто. Абы с кем тебя не обвенчают, тем более с евреем.

Впрочем, еврейское мракобесие еще хуже. В Европе, возможно, это не так, но в Израиле! Ведь тамошние «черные»[[22]](#footnote-22) не дают гражданства тем, кто не исповедует иудаизм. Бен Гурион, основатель Государства Израиль, вроде бы был социалистом, но всю нравственную область отдал на откуп религиозным радикалам – «черным» евреям, которые всех остальных ненавидят. Если кто‑то влюбится в нееврейку, это плохо, это предательство. И если она захочет обвенчаться с евреем, то должна перейти в иудаизм. Израиль – темное религиозное государство, сконструированное Бен Гурионом так, чтобы туда текли деньги от богатых верующих американских евреев.

*– А что для вас самое святое?*

– Не понимаю, что такое «самое святое». Спросите как‑нибудь попроще.

*– Например: что особенно важно? Семья? Друзья? Дом?*

– На такой вопрос трудно ответить. Все зависит от обстоятельств, от того, что происходит вокруг. Друзья есть всегда, семья есть всегда; с одними общаешься чаще, с другими реже. Трудно ответить абстрактно. Ведь необязательно почитать как святыню человека, от которого я в той или иной степени завишу, поскольку доверяю ему или признаю высшим авторитетом, – таким человеком может оказаться и тот, кто в данный момент зависит от меня. Можно быть к чему‑то сильно привязанным, но это вовсе не значит, что вот оно: «самое святое». Самое святое… Нет, я не знаю, как ответить на этот вопрос.

*– В «Гетто борется»* [[23]](#footnote-23) *вы пишете, что даже во время восстания отмечали Первомайский праздник. Как это выглядело? Вы рассказывали Ханне Кралль…*

– То, что тех пятерых убили именно в этот день, притом в одном дворе, – чистая случайность. Обыкновенные были ребята, такие же, как мы все. Можно было просто их похоронить, но нам хотелось это как‑то отметить. А поскольку было 1 мая, мы спели «Интернационал».

*– 19 апреля 1944 года, первая годовщина начала восстания. Как вы ее отметили на своей конспиративной квартире?*

– Не помню. Наверно, хорошо выпили.

*– Но после войны вы каждый год 19 апреля приезжали в Варшаву, чтобы положить цветы – сначала в развалины гетто, потом к памятнику героям гетто. Вначале вместе с боевыми товарищами и приемной дочкой Эльжуней (есть знаменитая фотография: вы с ней на развалинах гетто), потом в одиночку, еще позже – с сыном Александром, и, наконец, во времена подпольной «Солидарности»* [[24]](#footnote-24) *вас сопровождали толпы. И по сей день к памятнику ежегодно приходят сотни людей – в том числе молодежь.*

– Все дело тут в памяти. «Самое святое, святыня» – неподходящие слова, важно другое: из‑за чего люди приходили. Есть вещи, о которых нужно не только помнить самим, но и напоминать другим, показывать, что они были. Человек разное хранит в памяти, разных людей – в том числе погибших. И не важно, что про них многие сейчас ничего толком не знают. Ведь это нужно не тем, кого нет в живых, а тебе самому. Тебе эта память много дает – ты чувствуешь себя с ними связанным, то, что было, не прошло бесследно, в твоем уме кое‑что осталось.

Кроме того, иногда ты поступаешь наперекор кому‑то – чтобы другие не думали, будто вычеркнули из мировой истории важные для тебя вещи. Я, например, во времена ПНР хотел показать коммунистам: то, что они говорят, – ложь. Это была своего рода демонстрация.

Отношение к прошлому складывается из многих элементов. Некоторые эпизоды выветриваются из памяти и перестают существовать, но есть и такие, которые хочется сохранить, поскольку для тебя они очень важны. Поэтому ты делаешь все, чтобы они остались в памяти, – не только твоей, но и у других. Тут очень полезны и чисто физические действия: надо посещать значимые для тебя места или кладбища. Недостаточно написать об этом в газете или книге – пожалуй, этого маловато. Физическое присутствие, связанная с ним картинка, даже некий ритуал сильнее воздействуют на чувства. А пробуждение эмоций – ключ к сохранению памяти.

*– Но ведь в пятидесятые или шестидесятые годы вы не думали, что когда‑нибудь кто‑нибудь пойдет вслед за вами к памятнику героям гетто. Вы были в одиночестве.*

– Да, но это кололо глаза. Кололо глаза коммунистам, потому что я никогда не ходил на официальные мероприятия. А им очень хотелось, чтобы я был с ними. Они создавали собственную историю, и, когда кто‑то приходил к памятнику один, их это раздражало. И еще больше им не нравилось, что потом к этому одиночке стал кое‑кто присоединяться.

День 19 апреля начали отмечать только во времена нелегальной «Солидарности». В 1988 году к памятнику пришло несколько тысяч. Были транспаранты Конфедерации независимой Польши, Польской социалистической партии, «Солидарности». Конечно, многие пришли не для того, чтобы почтить память погибших в гетто, а чтобы продемонстрировать коммунистам свой протест. Тут все соединилось. Но именно тогда людям открылась подлинная история. Они осознали, что было вовсе не так, как втолковывали всем эндеки[[25]](#footnote-25): мол, не стоило этим, из гетто, давать оружие – мало того что евреи всегда покорно сдаются, они еще и коммунисты.

*– 19 апреля 1983 года – единственный раз, когда в годовщину восстания вы не поехали к памятнику. Коммунисты посадили вас в Лодзи под домашний арест. Как это выглядело?*

– Точно не помню. Я был в больнице. Тереса Богуцкая сказала, что ей очень плохо, – стоит, чтобы у нее кольнуло в левой пятке, как она сразу умирает и требует медицинской помощи. Так что она приехала ко мне, а потом мы почему‑то поехали в другую больницу, чтобы там посмотрели ее ногу.

У меня тогда была «шкода». Классная машина! Подхожу я к своей «шкоде», а в ней сидит какой‑то тип и говорит: «Я из Управления госбезопасности и отвезу вас домой. Вы не имеете права выходить из квартиры, потому что арабский мир готовит на вас покушение». Я спрашиваю: при чем тут арабский мир, у меня с ними ничего общего. Он отвечает, что у них есть секретная информация, бла‑бла‑бла. Подошла Тереса, садится на переднее сиденье, я ей говорю: «Тереса, это гэбист, он собирается запереть меня дома». Она заявила, что в таком случае будет моим Пятницей и останется со мной на необитаемом острове. Приехали ко мне. Телефон еще работал. Мы позвонили в Варшаву, сообщили, что меня не выпускают.

Потом кто‑то приехал сменить Тересу, так как ей нужно было ехать в Варшаву. Позже приехала Паула Савицкая[[26]](#footnote-26). Она даже подралась с милиционерами, потому что они мешали ей делать клецки или лапшу, что‑то в этом роде. Наверно, зашли на кухню, и она разъярилась.

Под конец приехала Ханя Кралль. В какой‑то момент мы решили пойти погулять. Тогда на нас набросились милиционеры, схватили Ханю, и тут началось. Они тащат Ханю за одну руку, я – за другую…

*– Вы вырвали самого выдающегося польского репортера из лап гэбистских палачей.*

– Пауле стыдно за эту историю. Ведь они с Ханей, вместо того чтобы включиться в политическую акцию, резали укроп для бульона! Тут милиция, то, сё, а у них укропчик, петрушка. Вот почему вспыхнул бунт – из‑за этой петрушки.

*– Вы пытались удрать от гэбистов?*

– Вначале я хотел уехать из больницы ночью, спрятавшись в машине знакомого лаборанта. Но он почему‑то не смог, и я пошел на стоянку такси. Никто за мной не шел, вот я и понадеялся улизнуть. Но тут меня вдруг хватают агенты… это были девушки, высоченные такие, ужас!

Еще я пытался удрать с помощью своего старого товарища Бронека Шпигеля. Он участвовал в восстании в гетто, потом партизанил в Вышкове. Один из немногих, кто остался в живых. Замечательный малый. После войны он уехал в Канаду, жил там и приехал на празднование 19 апреля.

Первую акцию Бронек устроил уже на еврейском кладбище в Варшаве. Профессор Рыбицкий и Анеля Стайнсбергова[[27]](#footnote-27) должны были возложить цветы к памятнику бойцам гетто. Каждый год возлагали, но в тот день в управление кладбища пришли гэбисты и велели закрыть кладбище раньше времени. Почему? Потому что пан Рыбицкий и пани Стайнсбергова – члены Комитета защиты рабочих, и вообще фуй! Когда Бронек об этом узнал, он предложил повесить этот венок на ворота, а он – участник восстания и гражданин Канады – возьмет его, перелезет через ограду и положит к обелиску. И так и сделал: они повесили венок на ворота, Бронек его взял, перескочил через забор и положил около памятника.

А потом приехал ко мне домой вместе с канадским консулом, чтобы отвезти меня в Варшаву Автомобиль с дипломатическими номерами – гэбисты перепугались. Бронек с консулом входят – весело! По такому случаю мы, как полагается, выпили, а потом Бронек стал фотографировать, как гэбисты цепляются к этому консулу. В конце концов они сели в машину и поехали в Варшаву в сопровождении трех гэбистских автомобилей.

*– Лех Валенса тогда вам написал, что восстание в гетто было самым польским из всех польских восстаний. В смысле своей безнадежности, разумеется.*

– То, что сегодня называют восстанием в гетто, действительно было безнадежным предприятием. Восстание – это когда есть какая‑то цель и замысел или, по крайней мере, надежда на победу. Так что, по сути, наше нельзя назвать восстанием. О победе не было и речи, речь шла о защите гражданского населения, да и то лишь недолгое время. Мы просто хотели хоть немного продлить жизнь этим людям. Ведь известно было, что не навсегда. Мы знали, что у нас нет шансов победить.

Мы были городскими партизанами. А в этом случае, если тебя не поддерживает население, ты неминуемо погибнешь. Городское партизанское движение существует только при поддержке гражданского населения. Поэтому мы продержались, пока в гетто еще оставались кое‑какие люди – прятавшиеся там, сям. Хоть они и прятались, но нам помогали. Одно то, что мы знали: где‑то они еще прячутся, – было для нас очень важно…

Перенести наши действия за пределы гетто мы не могли, потому что там у нас не было базы. Ведь население Варшавы относилось к нам в лучшем случае безразлично, а часть и враждебно. Конечно, были такие, кто стоял в гарнизонном костеле и, видя горящее гетто, плакал, но их было мало. Остальные рядом катались на карусели[[28]](#footnote-28).

У нашего восстания не было никаких шансов на победу – даже по идее. Так что это было не восстание, а защита населения.

В разных организациях говорили: этим евреям грош цена, они идут на смерть как бараны, они неспособны защищаться, – и это действовало против нас. Хотя я не видел серьезных вооруженных акций польского подполья в Варшаве до нашей авантюры в гетто в январе 1943 года – еще до восстания.

Первая польская акция – это когда у Арсенала[[29]](#footnote-29) отбили Рыжего. Но раньше – в январе 1943‑го – Еврейская боевая организация впервые в гетто оказала отпор немцам, когда те пытались продолжить отправку евреев в газовые камеры. Было несколько уличных столкновений, и на пятый день немцы прервали операцию.

Юзеф Рыбицкий, тогда глава Диверсионного отдела Армии Крайовой[[30]](#footnote-30), рассказывал мне про подоплеку акции у Арсенала. Ребята из батальона «Зоська» заявили: мы отобьем Рыжего. Но организация была военная, а командующий, генерал Ровецкий (Грот)[[31]](#footnote-31), не давал разрешения. Тогда они пригрозили: значит, мы это сделаем без приказа. Рыбицкий пошел к Гроту и сказал: они действительно намерены провести акцию без приказа, так что лучше разреши, иначе потеряешь авторитет. И Грот дал разрешение.

Это была первая вооруженная акция в Варшаве после нашей январской. Правда, Бартошевский[[32]](#footnote-32) говорит, что раньше где‑то в Полесье отбили десятка полтора заключенных… Но акция в маленьком провинциальном городке не могла стать символом борьбы для всей Польши. А когда в центре Варшавы отбивают командира – это уже символ.

В памяти такое откладывается все вместе, обязательно вместе. Только нужно иметь смелость об этом говорить и суметь оценить объективно, не примешивая политики.

Поэтому надо сказать, что, когда в 1988 году несколько тысяч людей под знаменами «Солидарности» пришли к памятнику Героям гетто, это была политическая манифестация против коммунистов. Так же как восстание в гетто было политической манифестацией против фашизма.

Надо говорить без обиняков, рассказывать, как было на самом деле, а не создавать мифы.

*– Однако вы, отмечая каждую годовщину восстания, победили: 19 апреля к памятнику Героям гетто приходят толпы, в том числе молодежь. Моя дочка прочитала про вас в книге Ханны Кралль, еще когда училась в лицее, и – уже в свободной Польше – с несколькими своими одноклассницами поехала в апреле в Варшаву. Девочки прошли весь тот путь, который вы проходите 19 апреля – от памятника до Умшлагплац. Я сам удивился – ведь им было по семнадцать лет, в Варшаве они раньше никогда не бывали…*

– И прекрасно. Но девочка не ведет политической борьбы с польским правительством. А я веду. Как раньше с коммунистами.

Ведь наше восстание вызывало очень разные реакции. У одних – сострадание, у других – ненависть, третьи были довольны и потом говорили: какое счастье, что Гитлер сделал за нас эту работу и убил этих евреев.

Я ничего не выдумываю: во время войны часто так говорили, и не только люди невежественные, но и интеллигенция. Если великий польский архитектор, который после войны восстанавливал столицу, отвел в немецкий участок двух маленьких еврейских детей… Они прятались у него под верандой – спали, там, ели то, что удавалось найти… А когда горело гетто, он говорил: «Жаль, что этот Тувим там не поджаривается». Мне это рассказывала одна знакомая, которая была у него домработницей, – ей, к счастью, удалось скрыть от него, что она еврейка.

Так что с интеллигенцией всяко бывало. Был Милош, который написал «Кампо ди Фьори», и был Анджеевский, написавший потрясающую «Страстную неделю». Написать о том, что происходит реально, на протяжении десяти‑двенадцати дней… Чтобы такое засвидетельствовать, вовсе не нужен какой‑нибудь новый Пруст. Но когда Анджеевский впервые прочитал «Страстную неделю» на каком‑то писательском собрании, одна только Налковская сказала, что это хорошо. Остальные промолчали. Почему? Потому что это была не их жизнь. А ведь там присутствовал цвет польской интеллигенции.

И для Ивашкевича, например, это тоже была чужая жизнь. В его «Дневниках» есть запись о том, что он видит, как в гетто горят бумаги, и тут же отправляется есть пирожные, размышляя, хорошие ли они и понравятся ли его другу. Он жил нормальной жизнью.

У Домбровской в «Дневниках» тоже ничего об этом нет. Великая польская писательница каждый день делает записи, и, судя по ним, получается, будто никаких боев в гетто не было. За три недели она ни разу о них не упомянула. Разумеется, когда впоследствии понадобилось официально высказаться, оказалось, она знает, что и как было, но видно, что в ее жизни это не имело никакого значения.

Варшава жила нормальной жизнью… Поэтому надо помнить и отмечать годовщины. Именно из‑за такой позиции многих. Вопреки ей. В какие‑то моменты равнодушие равносильно убийству.

Если ты видишь зло и отворачиваешься или не помогаешь, когда можешь помочь, ответственность ложится и на тебя. Потому что, отворачиваясь, ты помогаешь тем, кто позволяет творить зло. А таких случаев были десятки. Куда приятнее пойти в кафе и лакомиться пирожными, чем смотреть, как расстреливают людей.

*– Напрашивается вечный вопрос: можно ли требовать от людей героизма?*

– Это не героизм. Почему вы называете это героизмом? Речь не о героизме, а об обыкновенной порядочности.

*– Если я стою в толпе и вижу, как кто‑то хватает еврея, что я могу сделать?*

– Если ты подойдешь к этому человеку и скажешь: отцепись, – он может испугаться. Ведь у него нет законного права жестоко обращаться с евреем, такое право имеет только немец, вахман[[33]](#footnote-33). А прицепился он к еврею, чтобы вытянуть у того деньги, а потом либо выдать его немцам, либо не выдавать. Тому, кто сказал бы шмальцовнику[[34]](#footnote-34): отцепись от этого еврея, – ничего не грозило.

Шмальцовник, схвативший еврея, первым делом тащил его в подворотню. Почему? Чтобы люди не видели. Он знал, что это нехорошо.

Мне это точно известно, меня ведь много раз хватали. Два раза кто‑то говорил: отцепись от него, чего тебе надо, он ведь тоже человек. И шмальцовник отставал.

*– Когда вы из года в год 19 апреля в одиночку приходили на территорию бывшего гетто, у вас никогда хоть на минуту не возникало сомнений, ощущения безнадежности?*

– Вы только о душе… Какая безнадежность? У меня нет души, я не знаю, что это такое. Если ты что‑то делаешь, значит – дело не безнадежно. Даже если известно, что никакого проку от этого не будет. Все равно продолжаешь делать, потому что сама работа приносит удовлетворение. Человек ведь ничего не делает вопреки себе.

Если бы я считал, что этого не стоит делать, то и не делал бы. По разным причинам – таким, сяким. Так что оставьте вы эту душу в покое.

*– Как бы вы сегодня рассказали молодым людям, что собой представлял Умшлагплац?*

– Да ничего особенного. Одна школа и выход на площадь. Слева какие‑то бараки – бывшие склады, куда привозили продовольствие. А по другой стороне – железнодорожные пути, на путях стоял поезд, туда тебя и гнали. Людей вводили через ворота, следы от которых есть еще и сейчас, и загоняли прямо в вагоны. Если там уже не хватало места, тебя оставляли на ночь, а когда назавтра приезжал поезд, загоняли в вагон. Почти всегда эсэсовцы, но иногда украинцы из сотрудничавших с немцами формирований.

*– Еврейские полицейские тоже там были?*

– Да, но они стояли снаружи, самое большее – приводили эту толпу к воротам. Еврейские полицейские не загоняли людей в вагоны, входить на Умшлагплац им разрешалось, но в вагоны заталкивали в основном немцы и украинцы.

Да это можно увидеть в немецкой кинохронике: стоит немец с винтовкой, толпа идет мимо него, немец время от времени стреляет и так далее. Люди боятся выстрелов, боятся смерти. Иногда видно, как еврейский полицейский помогает кому‑то залезть в вагон – старикам, матерям с детьми. Но еврейская полиция в вагоны не загоняла. Это делали эсэсовцы и украинцы.

*– А теперь мы попросим вас рассказать кое‑что очень важное для истории гетто того времени…*

– Это чуть позже. А сейчас выпьем.

###### \* \* \*

*– Вы никогда не нуждались в авторитетах? К примеру, вы были знакомы с Виктором Альтером* [[35]](#footnote-35)*, крупнейшим довоенным деятелем Бунда. Был ли он для вас – уже тогда, до того как Сталин его убил, – героем?*

– Ну, в каком‑то смысле он был авторитетом. А может, и героем? – трудно сказать. Человека, который восстает против диктатуры, всегда преследуют, он часто попадает в тюрьму, иногда погибает. Кто же тогда герои, если не такие люди?

*– Мы об этом спрашиваем, потому что одновременно вы говорите, что человек сам строит свою жизнь, сам принимает решения.*

– Да, конечно. Но одно другому не противоречит. Я вот построил свою жизнь так, что для меня герой – Альтер, а не ребе из Гуры‑Кальварии.

*– То есть образцы нужны.*

– Ребе этот – не очень удачный пример… Муссолини заступился за него перед Гитлером, в Гуру‑Кальварию приехали эсэсовцы, схватили его в охапку, посадили в поезд и отправили в Италию. Оттуда он попал в Израиль. Это все организовали СС. Я сам видел.

Конечно, хорошим образцам надо следовать. Только желание кому‑то подражать должно возникать из внутренней убежденности, а не по принуждению. Не потому, что кто‑то сидит наверху и приказывает тебе, что делать: еще помолись, прочитай еще две странички, – вот тогда, говорит, ты будешь в порядке. А если не прочитаешь – не будешь. А не помолишься – и вовсе пошел вон.

Религия требует, чтобы ты ходил в костел или в синагогу, ходил на мессы и совместные молитвы, потому что так ты приобщаешься к служению религиозному культу. А если не ходишь в костел, не ходишь в синагогу – кто ты вообще такой? Религия хочет подчинить тебя своей власти. Для этого, в частности, и строит свои роскошные дворцы. Папы ведь строили великолепные дворцы в Ватикане не только из любви к искусству, но и чтобы показать могущество Церкви. Помните конфликт с Микеланджело? Ведь он расписал Сикстинскую капеллу назло Папе; с точки зрения церковников, фрески непристойны. А почему все деревенские храмы очень высокие? – чтобы придавливать прихожан своей мощью. Колокольня такая высоченная, чтобы люди испытывали уважение и страх.

Вся Церковь – иерархическая организация, которая желает владеть душами.

*– В Польше тоже еще недавно власть конфликтовала с Церковью и одновременно пыталась очернить и вымарать из истории великие польские авторитеты.*

– Хотела полностью их уничтожить. Хотя вообще‑то в Польше немного авторитетов.

*– В чем тут причина? Полякам не нужны авторитеты, или людей, которые могли бы ими быть, в большинстве своем уже нет в живых?*

– Нет, ведь авторитеты не умирают. Но каждый выбирает их себе сам. Один – Юзефа Пилсудского, другой – знаменитого футболиста или певца. Вдобавок постоянно идет политическая борьба, и авторитеты в числе ее объектов. А иногда и сами авторитеты принимают в ней участие. Бывает, что они очень неприязненно относятся друг к другу. Тогда трудно определить, кто на самом деле большой авторитет. Самое скверное, что каждый отстаивает свою правоту.

В результате всеобщих авторитетов – таких, которых признавало бы все общество, – практически уже нет. Мне, например, не нравится де Голль. Однако, что ни говори, для каждого француза он – авторитет. Вел он себя по‑разному. Когда впервые приехал в Москву и признал просоветский Польский комитет национального освобождения[[36]](#footnote-36), это было отвратительно. Циничный поступок, но этого требовала политика. Однако, при всей своей диктаторской власти, первое, что де Голль сделал как президент Франции, – дал пять миллиардов франков на науку. Это кое‑что значит: он ведь предназначил эти деньги не на упрочение своей власти – на полицию, армию и тому подобное, – а на общечеловеческую, общественную цель. И хотя потом, разумеется, укреплял полицию и армию, безудержно стремился расширить свою власть, совершал безумные политические шаги, сегодня во Франции его уважают.

В Польше такого человека нет. Спросите сейчас, например, про Варынского – мало кто знает, кем он был. Или про Недзялковского, Зарембу[[37]](#footnote-37) – никто их не знает. А ведь эти люди творили историю Польши. Я не говорю, что они должны быть величайшими авторитетами… А сколько человек знает, каким замечательным писателем был Анджеевский?! Лучше всего – для сравнения – почитать Ивашкевича. Возможно, он был великим писателем – язык, то, сё. Но даже из его «Дневников» видно, как неважнецки он себя вел в те отвратительные времена. Так что Ивашкевич может быть великим писателем, но не может быть авторитетом. А вот Анджеевский может, потому что в трудные моменты вел себя достойно.

Попробуйте назвать имена моральных авторитетов времен оккупации. А ведь это были великие люди. Конечно, в голову приходит генерал Грот‑Ровецкий. Я не говорю, великий он, не великий. Известна его идеология: он был государственник, но кроме этого – ничего. Неслучайно Словацкий вопрошал: «Польша – но какая?» В польском подпольном государстве доносят на Хандельсмана, выносят смертный приговор Видершалю, Крахельской[[38]](#footnote-38) – все прогрессивные тенденции были уничтожены. А вот во Франции и других странах такого не было.

Кроме того, многих сажали в лагеря и расстреливали. Их всех надо помнить. А разве кто‑нибудь помнит тех, кто погиб от рук немцев? Пусть они были коммунистами, но ведь боролись за Польшу, верно? И за это их вешали. Взять хотя бы мужа Марыси Руткевич[[39]](#footnote-39) – он был коммунист, но Польшу ведь не неволил, он боролся с гитлеризмом. Если история с ИНП[[40]](#footnote-40) будет продолжаться, ни к чему хорошему это не приведет. Мазовецкого[[41]](#footnote-41) оплевывают, Валенсу[[42]](#footnote-42) оплевывают… Это же неслыханно: оплевывать Валенсу. Якобы он был агентом госбезопасности… Что он мог рассказать? Что такой‑то из его соратников пьет? О чем они могли его спрашивать? Что он мог им продать? Ведь он тогда ничего не значил и ничего не имел.

Предположим все‑таки, что Валенса когда‑то там согрешил. Но даже в этом случае все, что он потом сделал, затмевает любые его грехи. Даже если был агентом – ну и что? Ничего, потому что именно он в 1980‑м подписал двадцать один пункт Августовских соглашений, именно он довел дело до Круглого стола[[43]](#footnote-43). А теперь его гнобят.

Политики самого высокого уровня, на кого‑то там ссылаясь, говорят, будто бы Валенса был агентом и строил у нас коммунизм! Да ведь чтобы утверждать такое, надо совсем сбрендить. Только недоумки могут хотеть уничтожить то, что целый мир считает прекрасным символом борьбы поляков за свободу. Я когда‑то побывал в Южно‑Африканской Республике. Мы поехали в резервацию – представьте: тысячи гектаров лесов, населенных дикими зверями, – и там, среди этих лесов, кафешка, и в ней местный официант, креол, такой: ни черный, ни белый… Когда он узнал, что мы из Польши, сразу стал кричать: «Валенса, Валенса!» В резервации, там, где сходятся Атлантический и Индийский океаны, знают, кто такой Валенса, а у нас говорят, что он агент.

*– Это зависть? Или что‑то другое? Откуда берется в Польше это безумие?*

– Не знаю, почему так получается. Не знаю, но это факты.

*– Тем не менее, когда в разгар скандала, связанного с законом о люстрации, началось преследование Бронислава Геремека* [[44]](#footnote-44) *и профессор Геремек приехал в университет в Ополе, аудитория, заполненная молодежью и преподавателями, стоя устроила ему овацию. Так, может, не все заражены этой ненавистью и от нее есть вакцина?*

– К счастью. Общество – тоже к счастью – не однородно. Но поскольку власть подчинила себе часть средств массовой информации, она может влиять на образ мыслей общества. Недавно я услышал по радио, что в первые годы уже свободной Польши известный эмигрантский писатель Юзеф Мацкевич[[45]](#footnote-45) по‑прежнему был окружен молчанием. Не знаю, большой ли он писатель, зато помню, как он себя вел во время войны. У меня этот человек симпатии не вызывает. Он ведь считал, что Польша, хоть и оккупированная немцами, должна с ними договориться. Если Гитлер согласится, можно будет создать этакое марионеточное правительство. Но немцы не стали его слушать. К счастью. Издавать Мацкевича можно, но придавать этой истории серьезный политический характер значит оскорблять тех, кто боролся с немцами, и тех, кто сейчас осуждает сотрудничество с оккупантом.

*– Это политика.*

– Но политика глупая. Жалкие игры, которые не объединяют, а разобщают людей. Не знаю, что было бы, если бы Мазовецкий еще десять лет оставался премьер‑министром. Не знаю, не сломился ли бы он под напором национализма и определенных партийных группировок. Хотя он человек твердый, так что, возможно, было бы иначе.

*– Однако, с другой стороны, если создание авторитетов возложить на правительство или пускай даже историков, то нам грозит этакое сенкевичевское «укрепление духа»* [[46]](#footnote-46).

– Авторитеты создаются не историками. Их создает история. Мало кто знал, каким человеком был генерал Грот‑Ровецкий. Он не был широко известен – и тем не менее пользовался авторитетом. И это заслуга вовсе не пропаганды, а истории. А сменивший его Бур‑Коморовский[[47]](#footnote-47) уже таким авторитетом не пользовался. Вот так‑то.

Грот писал Сикорскому[[48]](#footnote-48): не защищайте евреев, в стране силен антисемитизм. Хотя и писал так, он был авторитетом. И таким остается – даже если у него на самом деле были связи с немцами. Впрочем, это нельзя называть преступлением: на его уровне такие связи должны быть.

Короче, Грот мог стать национальным героем. Не потому, что готов был сложить голову в бою, а в моральном смысле. Потому что он был символом Сопротивления. Одно его имя заставляло людей вести себя порядочно. Он сумел создать образ вождя. Но к сожалению, такой национальный герой никому не понадобился.

*– В Польше существует стереотип героя, который стреляет или подставляет себя под пули. А вы, если судить по «Опередить Господа Бога», пытаетесь нас убедить, что такими же героями, как ребята в гетто, поднявшиеся с оружием против немцев, были те, кто шли на Умшлагплац и в газовые камеры.*

– Не будем об этом говорить – пустая трата слов.

*– Когда умер Ежи Турович* [[49]](#footnote-49)*, вы приехали в Краков на его похороны. Пришли в «Тыгодник повшехны». В кабинете Туровича была какая‑то западная киногруппа. Вы их выгнали, а нам велели принести рюмки и позвать несколько человек: Кшиштофа Козловского, Касю Морстин, Томека Фиалковского. Потом раздали всем рюмки, поставили на письменный стол шефа стакан, достали из сумки бутылку отборного виньяка – до сих пор помним – и налили всем. Шефу тоже. И объяснили, что в гетто вы так прощались со своими людьми. Этот стакан водки для покойного Ежи Туровича еще долго стоял на столе. Никто не решался его тронуть.*

– В гетто никто не умирал в своей постели. Мы никого не могли похоронить как полагается. Только после войны люди начали умирать нормально, в постели. А нормальный человек не должен верить, что где‑то его ждет другая жизнь.

*– Ради кого делаются такие жесты?*

– Ради друзей. Для чужих людей такого не делаешь. Не пьешь, когда умирает чужой человек. За последние годы эта история обросла легендой. Я сам того, что вы рассказываете, не помню, помню только, что долго разговаривал где‑то в уголке с Халиной Бортновской. Ну и не такой уж я нахал, чтобы выгонять киногруппу. Смелости бы не хватило. Водку, возможно, принес и выпил с вами. Возможно, сказал: что поделаешь, так уж случилось. Это хороший обычай: с другом нужно выпить на дорожку, пока он здесь. Хотя бы не телом, а душой.

Пьют ведь не только для тела, но и для души – возможно, что‑нибудь вроде этого я и сказал. Да и не все ли равно, как оно было, – осталось у вас в памяти, и хорошо. Это как на судебном разбирательстве… Свидетелям задают вопрос, стреляла ли подсудимая в этого человека? Все говорят, что стреляла. Но потом, когда у них спрашивают, в каком она была платье, отвечают по‑разному: в красном, в синем, в зеленом. Потому что у каждого в голове остался свой образ. Когда трое видят одно и то же, каждый видит это по‑своему. Я говорю совершенно серьезно. Не знаю, что я тогда имел в виду и что сказал, поскольку не помню этой сцены. Но так вполне могло быть. Будем считать, что так оно и было, хотя я не всегда соблюдаю этот обычай.

*– Кого в гетто хоронили как полагается?*

– Я тогда ни разу не был на еврейском кладбище. Тех, кто умирал от тифа, вывозили из гетто. Богатых хоронили, каждого в своей могиле. А остальных… Ведь покойников собирали с улиц, клали по десять‑двенадцать трупов на специальную тележку и увозили в общую могилу. Голые мертвецы ехали в тележке по улицам до ворот гетто и дальше, на кладбище. Там их сбрасывали в общие могилы и сверху засыпали известью.

Хоронили, конечно, и тех, кого мы убивали, – агентов, сотрудничавших с немцами, коменданта полиции; у этих были нормальные похороны. Даже сохранился надгробный камень, под которым лежат некоторые из них.

Но наши памятники времен войны в основном символические. Такая могила у доктора Брауде‑Хеллеровой, главврача больницы Берсонов и Бауманов, завотделением новорожденных, – она могла выйти из гетто, но не захотела оставить детей. И у Абраши Блюма[[50]](#footnote-50), лучшего из всех нас, бундовцев. Он поддерживал наш дух в самые трудные минуты.

В настоящей могиле лежат только пятеро ребят, которых немцы убили в Зелёнке[[51]](#footnote-51): Юрек Блонес, Зигмунт Фридрих[[52]](#footnote-52) и другие. Их эксгумировали из‑под забора, возле которого расстреляли, напротив дома, где они должны были скрываться, – кто‑то их выдал. Пять человек. А у остальных символические могилы, ни одной настоящей.

Не то что после келецкого погрома[[53]](#footnote-53): в Кельце можно было тела убитых положить в гробы и потом выставить эти сорок гробов на всеобщее обозрение.

В гетто дошло до того, что даже смерть самых близких никак не отмечалась. Не было возможности. Я сам сталкивался со смертью в основном в больнице. Не знаю даже, как увозили детей, которые там у нас умирали. Наверно, это делало погребальное агентство Пинкерта, занимавшееся похоронами в гетто. Потом я некоторое время работал в прозекторской, но трупы после вскрытия больница тоже не хоронила.

*– Вы помните, кто из ваших подчиненных первым погиб во время восстания?*

– Михал Клепфиш[[54]](#footnote-54).

*– Где это случилось?*

– На Свентоерской, 36.

*– Там, где сейчас китайское посольство?*

– Да.

*– Он правда заслонил своим телом пулемет?*

– Он выскочил прямо на пулемет. Не заслонил телом. Телом можно заслонить маленькую амбразуру. Михал вел группу. Они были за дымоходом, а немец прятался на лестнице. Михал шел впереди и первым выскочил из‑за трубы, так как думал, что проход свободен. И немец его застрелил. Я тоже столкнулся с этим немцем, но меня он не застрелил. Потому что я был умный, а немец – болван. Хотел меня застрелить из длинноствольного оружия – у пулемета длинный ствол. А я к этому немцу прижался – он стреляет, а пули летят у меня за спиной. Потом я рванул по лестнице вниз, перескакиваю сразу по полмарша, раз‑раз, я тогда ловкий был малый, он не успел вытащить из гранаты чеку, как я уже был этажом ниже. Дом был, кажется, шестиэтажный. Мы там прятались на чердаке.

Немцы подожгли этот дом, и все сразу стало рушиться. Не помню точно – кажется, Клепфиша даже не снесли вниз… А докопаться не было возможности: как только дом загорелся, посыпались кирпичи, гора обломков доставала до третьего этажа. Но может быть, кто‑то все же успел снести его на первый этаж?

*– Все эти дома были сожжены?*

– Да. Немцы начали поджигать гетто именно с нашего участка, потому что не могли с нами справиться. Когда взорвалась наша мина… Ой, у вас магнитофон барахлит. Журналисты, а перо в руке держать не умеете, и все у вас ломается.

*– В саду китайского посольства до сих пор такие бугорки…*

– Да, весь Муранов стоит на развалинах. Пойдите в кинотеатр «Муранов» – вход в него намного ниже соседних домов. Развалины не вывезли из Варшавы, только слегка утрамбовали и сверху поставили новые дома, целый район.

*– Даже сейчас, когда уже все знаешь, смотришь и думаешь, как же это страшно: был живой город, а превратился в море развалин. А уж каково было тогда… правда?*

– Я на такие «вздохи» и не знаю, что ответить. Если живешь, то приспосабливаешься к тому, что вокруг тебя. Не скажу, что эти развалины рвали душу. Идти по тропке среди кирпичей было очень неудобно… Да, ужасно, но ничего душераздирающего. Человек был счастлив, если выбирался на ровную дорогу.

*– Это фактически кладбище.*

– Да. Когда строили банк на углу Дюбуа и Заменгофа и стали рыть котлован под фундамент, приходилось то и дело прерывать работу, потому что экскаватор вместе с обломками и землей зачерпывал человеческие кости. Не знаю, что с ними делали, отделяли или нет.

Однажды я шел по Муранову с какой‑то западной телевизионной группой. Один из телевизионщиков говорил по‑польски и спросил у случайной молодой пары, как им живется тут, на кладбище. Парень ответил, что ничего не знает. Но девушка призналась: «Мне по ночам страшно». Как‑то я зашел к знакомой журналистке – погреться, было ужасно холодно. Гляжу, а у нее на полке фигурки евреев с бородами, в лисьих шапках, – кажется, такие продают под Краковом на ярмарках. Я спросил, откуда они у нее, и она сказала, что боится здешних духов и по ночам, когда ей страшно, смотрит на этих евреев: раз они тут стоят, значит, живы… Ладно, это не важно. Все‑таки некоторые понимают, что живут на кладбище, и им страшно.

Хотя с виду Муранов ничем не отличается от других новых районов. По всей Европе спальные районы выглядят одинаково. Люди, у которых нет средств жить во дворцах, живут в стандартных домах. Возможно, ванные в Париже по качеству лучше, чем в Бухаресте, но снаружи все выглядит одинаково.

*– Но на Муранове дома построены на этих бугорках…*

– Там были горы развалин высотой до второго‑третьего этажа. Часть увезли: приезжали жители маленьких городков и увозили кирпичи для строительства своих домов. Но б*о* льшая часть развалин осталась. Люди знают, на чем живут.

*– А когда была разобрана стена гетто?*

– Не помню. Должно быть, сразу после войны. Я вернулся в Варшаву в начале 1945 года – в январе, феврале или марте – и не помню, чтобы видел хоть остатки стены. Думаю, кирпичи начали раскрадывать сразу. Иначе сохранилась бы хоть какая‑то документация – ведь Управление по восстановлению столицы быстро приступило к работе. И какие‑то фрагменты, вероятно, оставили бы. А этот кусочек во дворе на Твардой сохранился случайно.

*– Но во время Варшавского восстания стена еще стояла? Была ли территория гетто, на которой вы сражались в 1943 году, в августе 1944‑го все еще отрезана немцами от остальной части города?*

– Нет, ведь на месте гетто был лагерь – «Генсювка»[[55]](#footnote-55). Там были немцы, но аковцы атаковали «Генсювку» и освободили евреев из разных стран, которых там держали. Впрочем, большинство из них потом погибли.

*– Как?*

– Не могу сказать, не видел. Выжили только несколько человек. Один грек даже приезжал каждый год на годовщину восстания. Но остальные… Они так и оставались в полосатых робах, в гражданскую одежду их не переодели. Один раз я видел, как они тащили большую бомбу с шестого этажа. Человек двадцать в этих полосатых робах. Когда я стал расспрашивать, кто это, мне сказали, что была атака на «Генсювку», они оттуда.

Может, кто‑то постарался, чтобы они остались в этих робах…

У меня с ними почти не было связи, потому что поначалу их не выпускали из бараков. А что с ними сталось?.. Кажется, некоторые участвовали в восстании, а остальные куда‑то девались. Куда – не знаю, во время восстания я был в другом месте. Мой пост был на Старом Мясте, внизу, на Мостовой улице, возле того белого дома, где сейчас театр «Стара Проховня». Там на меня обрушилась стена: по ней выстрелил танк, а я стоял под стеной, и меня засыпало.

Так или иначе, на Муранове среди кирпичей сохранились следы прежней жизни. Ведь когда дом рушится, мебель с верхних этажей летит вниз вместе с кирпичами, черепицей, балками. И даже если все горит, какой‑нибудь шкаф или стол из твердого дерева, присыпанные обломками с верхних этажей, иногда остаются целы. Я сам помню, как в марте или апреле 1945‑го, не позже, люди вытаскивали мебель из‑под развалин. Не много было этой мебели, но все же…

Впрочем, тогда можно было наткнуться и на трупы. На виадуке на Жолибоже, со стороны Старого Мяста, долго лежала девушка, погибшая во время Варшавского восстания… Может быть, связная, не знаю… Молодая, в защитной форме, у нее была кобура от пистолета… Видно было, что красивая, хотя лицо изуродовано пулей… Добрых несколько месяцев пролежала, пока ее не забрали.

Даже совсем еще недавно, когда начали рыть котлован под фундамент Музея польских евреев, нашли старые объявления еврейской общины, которые какой‑то чиновник, видимо, спрятал во время последней акции в январе 1943‑го. Там был песок, и они сохранились. Кажется, их забрали какие‑то историки.

Не знаю, важно это или нет, но на Муранове, под землей и под этими кирпичами, сохранились следы той жизни.

*– Почему никогда не пытались эксгумировать трупы из бункера на Милой, 18? Анелевича* [[56]](#footnote-56) *и других?*

– А зачем эксгумировать? И что дальше: перенести кости на кладбище? Что это даст? Так они лежат со своим оружием без патронов, и пусть лежат. Никто их не трогает, и не надо трогать. Зачем? Ведь всё вместе – это большое кладбище, так зачем трогать?

О том, что на Милой, 18, под этим бугорком, лежат люди, известно. Но под соседним домом тоже люди, из других бункеров. Десятки, сотни людей… – все там, под этими развалинами. Какие‑то останки могли мумифицироваться, от некоторых, вероятно, остались только кости. И не надо туда заглядывать. Известно, что это кладбище… А на всяком кладбище есть аллеи, так, может, здесь аллеи – теперешние мостовые?

###### Константы Геберт

В 1979 году Марек пришел на одно из занятий Еврейского летучего университета[[57]](#footnote-57). Оглядел нас и высмеял: «Вы – не евреи, – сказал, – вы это себе выдумали. Польских евреев уже нет – все убиты». Должно было пройти много лет, чтобы он перестал насмехаться над нашим «вымышленным еврейством», но полностью своего мнения так и не изменил. Однако, утверждая, что все польские евреи убиты, Марек был неправ. Пока он был жив, они жили в нем. Сейчас на каждого из нас ложится доля ответственности за то, чтобы они продолжали жить.

Я не хочу возводить в его честь храм – он первый поднял бы меня на смех. Марек был антисионистом. «Израильтяне, – часто говорил он, – не евреи, это другой народ». Да, истребленный народ Марека – бедные евреи, отечеством которых были не пески Негева, а Милая и Дзикая улицы, которые хотели строить не новое государство, а лучшую Польшу; даже когда их из этой Польши пытались выгнать, большинство считали сионизм плодом глупой фанаберии. Когда этот народ погиб, Марек сохранил ему верность. Ахават Исраэль, любовь к народу Израиля, не позволила ему полюбить Государство Израиль. Он не спускал с него своего требовательного взгляда (как, впрочем, и с его противников, и с Польши), но никогда никому не позволял использовать собственные претензии в качестве алиби для ненависти.

К религии он относился как к вредной чепухе. «Вера для меня – чужое; я только не люблю, когда ее демонстрируют», – сказал он мне однажды. Я считаю, что важно верить в Бога. И еще важнее – верить Богу, чтобы пройти по жизни так, как Бог учит. Но самое важное, чтобы Бог мог верить в тебя. Верить, что ты не струсишь, не убежишь, не предашь. Независимо от того, веришь ты в Бога или не веришь. В доктора Марека Эдельмана – во время восстания в гетто и Варшавского восстания, в марте 1968 года и когда в Польше было военное положение, когда он в составе гуманитарного конвоя направлялся в Сараево и когда сидел у постели больного, – Бог мог верить. Он знал, что Эдельман не подведет.

Возвращаясь из Боснии, я ездил к Мареку лечиться. Он прописывал мне солидные дозы спиртного и пояснял, что, хоть это и первый эксперимент с разумным животным, но, для первого раза, вполне удачный и что в следующий раз – с дельфинами или летучими мышами – получится еще лучше.

Не надо ссориться из‑за веры. Только вот теперь, без Марека, станет труднее быть порядочным человеком. Зная, что он не поймает тебя на какой‑нибудь увертке, на уклонении от ответственности, на мелкой лжи, которая откроет двери лжи большей. Не опасаясь его требовательного взгляда, помогавшего держаться на достойном нравственном уровне.

Теперь нам придется обходиться самим.

Константы Геберт – журналист, публицист и переводчик. Родился в 1953 году; во время военного положения был одним из создателей подпольного журнала «КОС» (Комитет общественной самообороны), в котором писал под псевдонимом Давид Варшавский; с 1989 года постоянно сотрудничает с «Газетой выборчей», является основателем ежемесячного журнала «Мидраш», посвященного еврейской тематике. Автор более десятка книг, в том числе репортерских «Мебель» и «Оборона сараевской почты», исторической «Место под солнцем. Войны Израиля» и сборника «54 комментария к Торе».

## *Почитай отца твоего и мать твою…*

*Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.*

Казалось бы, нет заповеди, которую легче соблюсти. И тем не менее: разве безграничное почитание не нарушает божественный порядок в мире? Разве дети должны почитать своих родителей, работающих в гестапо? Разве можно почитать родителей, которые мучают, терзают тебя или твоих близких?

И наоборот: не лучше ли почитать тех, кто по отношению к тебе – волей‑неволей – играют роль архетипических родителей? Твоих наставников, опекунов, партнеров? Тех, кто тебя не подведет?

В феврале 2007 года в Тель‑Авиве, во время съемок фильма о Мареке Эдельмане, мы встречаемся с Пниной Гриншпан‑Фример[[58]](#footnote-58). Она дрожащим голосом рассказывает о том, как в конце восстания в гетто, когда было принято решение пробираться по каналам на арийскую сторону, командир ее группы объявил, что он перейдет на ту сторону самостоятельно, а заботиться о своих людях не станет. Заплаканная Пнина подошла к Мареку Эдельману (тогда двадцатитрехлетнему) и спросила, что с ними будет, если командир их бросит. «И что Марек мне ответил? Пнина, я буду вашим командиром, не беспокойся, все будет в порядке. И за руку провел меня по каналам…»

###### \* \* \*

*– Есть одна заповедь, которая надеюсь, вы согласитесь – не вызывает сомнений: «Почитай отца твоего и мать твою». Разве с этим можно спорить?*

– Это нужно для того, чтобы люди друг друга не перерезали. Придумано тысячи лет назад, когда все убивали друг друга.

*– Но нельзя ограничиваться только религиозным толкованием заповеди. Это некая система ценностей.*

– Что значит: почитай отца и мать? Казалось бы: если мать тебя выкормила, то с какой стати тебе ее убивать? Но видимо, дети убивали матерей, потому и сказано, чтобы они этого не делали. Логично: не убивай, потому что она тебя выкормила собственной сиськой.

*– Ваши бывшие подчиненные в гетто говорили, что вы опекали их как отец, хотя были так же молоды, как они, или только немногим старше.*

– Потому что должность у меня была такая: я за них отвечал. А поскольку мы были вроде как армия, они обязаны были слушаться командира. Кстати, те, что не слушались, погибли. Потом по‑разному бывало, но до 10 мая, то есть до того дня, когда мы, благодаря Казику Ратайзеру[[59]](#footnote-59), по каналам выбрались из гетто, те, кто слушался, выжили.

Только это не называется «опека». Взять хотя бы тот случай с Пниной. Девочка боялась, вот я и сказал: «Иди со мной рядом, я буду держать тебя за руку». По правде говоря, помочь это нисколько не могло, но она почувствовала себя лучше, увереннее. Ничего не изменилось, она делала все то же самое, что и другие. Боялась, да, но ей казалось, что, раз она держится за мою руку, все будет хорошо. Сколько ей было лет – девятнадцать, двадцать? Я не удивляюсь. Но это не опека.

Если ты командир, у тебя есть обязанности. Впрочем, не мне следовало бы командовать. Там нужен был опытный человек… Но под рукой никого не нашлось, так что отправили меня. Поэтому я там оказался. Вам кажется, кто‑то так задумал? Да это просто стечение обстоятельств. Случайность.

*– Вы могли сказать «нет».*

– Мог, но не сказал, потому что раньше сам голосовал за создание боевой организации[[60]](#footnote-60), хотя был там кое‑кто, кому я не очень‑то доверял. Но оказалось, что все в порядке. А коли уж ты не сказал «нет», изволь потом исполнять то, что от тебя требуется и на что ты согласился. Если намылился – брейся. Все просто. А вам бы только покопаться в душах.

*– Вы говорите, что во время восстания чувствовали ответственность за своих людей. А им вы доверяли? Командир ведь должен доверять своим подчиненным, да?*

– Без доверия нельзя было существовать. Вы знаете, кто были эти парни и девушки, которые участвовали в восстании? Одноклассники, ребята из одной школы, с одного двора, из одной организации. В каждую группу подбирали самых близких знакомых. Не только бундовцев – любых, потому что без доверия и начинать не стоило. У нас не было ни одного провала. Обратите внимание: никто ни разу не выдал, где находится наш штаб. Потому что брата не убивают. Даже ради сохранения собственной жизни брата не отправят на смерть.

Людям надо верить. Конечно, иногда можно ошибиться, но и тогда ничего страшного не случится.

*– Во время восстания в гетто вы были сплоченным коллективом, где все могли друг на друга положиться, и это прекрасно. Ну а потом, во время Варшавского восстания, когда лично вы сражались в рядах Армии Людовой* [[61]](#footnote-61)*, там тоже были люди, достойные доверия?*

– Мне трудно ответить. Могу только рассказать одну историю. Наш отряд располагался в каком‑то подвале на Длугой; и вот однажды подходит ко мне Настек Матывецкий, тоже из АЛ, и говорит: «Марек, лучше тебе сегодня вечером сюда не спускаться, давай переночуем на газоне на Длугой. Я лягу рядом с тобой, прикрою своей плащ‑палаткой, не то тебя ночью могут застрелить».

Не знаю, предостерегал ли он меня от своих товарищей из АЛ, – в этом подвале спали и ребята из АК, и из других частей. И не знаю, действительно ли кто‑то хотел меня убить.

Похожая история случилась уже после объявления капитуляции. Я тогда был на Жолибоже, в квартире одного поручика из АК, псевдоним Тит. Он туда время от времени приходил, потому что там продолжала жить его жена с двумя маленькими детьми. Я, когда вечером возвращался, таскал ребятишек на закорках, а если была какая‑нибудь еда, их кормили первыми. Здорово было. И когда объявили капитуляцию, Тит предложил, что даст мне аковские документы, чтобы я мог выйти из Варшавы и отправиться в плен вместе с его отрядом. Я тогда у него спросил: «А ты можешь гарантировать, что никто из твоих людей меня не выдаст?» Он говорит: «Да ведь у тебя будет удостоверение АК». Я уточнил: не укажет ли кто‑нибудь на меня как на еврея? Тогда он признался, что такой гарантии дать не может. Ну и я остался на Жолибоже.

Никто мне во время восстания не сказал: «Эй ты, жид!» – или что‑нибудь в этом роде. Никто.

*– А после войны: кто‑нибудь вас обманул, злоупотребил вашим доверием, подвел? Вы же с самого начала были под колпаком госбезопасности: первые их записи насчет вас относятся к февралю 1947 года. Одно поразительно: видно, что многие из тех, кто рассказывал о вас гэбистам, вами восхищались и пытались защищать или, по крайней мере, старались как можно меньше вам навредить.*

– Я этих документов не видел. Да и зачем они мне – я ведь знаю, что там написано. Когда меня вызывали в органы, то, после того как я час или два ждал в камере или в каком‑нибудь кабинете, приходил сержант или поручик и говорил, что я шпион. После чего спрашивал, на какую разведку работаю, и предлагал три на выбор: израильскую, американскую и немецкую. Я отвечал: что я могу сказать, если сам не знаю?

Такие вот происходили диалоги.

Час мы вели такую умную беседу, потом меня снова сажали за решетку, а через полчаса приходил милиционер и меня выпускал. Так что о чем тут говорить, тем более что они проиграли. Когда они дежурили возле моего дома, я спрашивал: вот вы небось закончили университет, получили красный диплом, так какого черта торчите на холоде у подъезда и меня сторожите? Они отвечали, что получают квартиру и талон на машину, а ни в каком другом месте им бы этого не дали. Короче, не вижу смысла об этом говорить.

*– Яцек Куронь* [[62]](#footnote-62) *когда‑то нам сказал, что вы и после войны остались руководителем восстания в гетто. Потому что так же, как к своим людям в гетто, относились к своим врачам в больнице, к пациентам, а потом – к диссидентам. Кажется, вы любили говорить: чтобы разобраться в человеке, нужно в трудной ситуации «положить ему в корзинку свою голову, чтобы он пронес ее мимо немецкого караульного поста». Тем, кто – несмотря на опасность – согласится взять эту корзинку с твоей головой и попытается ее пронести, можно доверять.*

– Яцек доверял всем. Я – нет. Но доносчиков не боялся, потому что от них узнавал о себе больше, чем они обо мне. Да и что они могли мне сделать?

Это они меня боялись. Коммунисты со мной не связывались, потому что знали: немедленно кто‑то обо мне напишет, кто‑то станет протестовать и так далее.

Впрочем, было несколько коммунистов, которые меня даже оберегали. Например, Херш Смоляр. Он был редактором коммунистической газеты и все такое прочее, но вел себя очень порядочно. Да и еще кое‑кому из наших людей, вернувшихся после войны, пока мог – помогал, устраивал на работу и так далее. Коммунисты были разные, но чтобы кто‑нибудь из них тогда на меня набросился, оскорбил бранным словом – такого не было. Они понимали, что со мной лучше не связываться. Почему? Не знаю. Ведь револьверы и ППШ[[63]](#footnote-63) лежали вот здесь, в углу, а не у меня под рукой, так что не знаю, почему они боялись. Но – боялись.

*– И долго это оружие лежало у вас в комнате?*

– Ой, долго. Когда в 1949 году – не помню уже, по какой причине, – опечатали помещение Бунда, я взял эти пистолеты, сел в такси, поехал туда, сорвал печати и положил пистолеты в шкаф.

*– Вы говорите, что доверяли не всем. То есть у вас было чутье на людей?*

– Про это я не стану рассказывать – не доверял, и точка. Вы рассказываете подругам ваших жен, с какой любовницей провели прошлую ночь? Нет.

*– Вы говорили, что были коммунисты, которые вам помогали. Мечислав Мочар* [[64]](#footnote-64) *входит в их число? Ведь он, будучи начальником местного Управления безопасности, дал вашим людям оружие, когда пошли слухи о возможности погрома в Лодзи.*

– Дал. Той ночью, когда должен был состояться погром, он дал оружие, чтобы мы могли защищаться. Кстати, часть этого оружия потом тут у меня лежала.

*– Впоследствии у вас были контакты с Мочаром?*

– Да, но об этом незачем говорить.

*– А как объяснить, что потом, после Марта‑68, он инициировал антисемитскую кампанию?*

– Это другое дело. Тогда, сразу после войны, он в Лодзи был главный. А если управляешь городом, то все в твоих руках. Когда заходит речь о погроме, только ты можешь отдать приказ о его начале, а не какие‑то там мерзавцы. Или по твоему приказу будет погром, или никакого погрома не будет.

*– В 1968 году вы не обижались на коллег, которые не впустили вас в больницу?*

– На вахтера? На профессора, который всего боялся? Я на него не обижался – я его презирал за то, что он трус. Вместо того чтобы позвонить и сказать: «Не приходи больше», – сам в тот день не пришел на работу, а меня не впустил вахтер.

*– И что этот вахтер тогда вам сказал?*

– Что ему запретили меня впускать, что мне уже нельзя сюда входить. Но я все равно вошел, поднялся наверх, собрал свои манатки и сказал пару слов этим трусам… Они все попрятались по углам, так им было стыдно.

*– А вам случалось завалить какое‑нибудь дело?*

– Наверняка. Своих ошибок не помнишь, но, конечно, они бывают. Думаете, я всегда все делал хорошо?

*– Да, мы так думаем.*

– Вы так думаете… Но когда нет опыта, обязательно ошибаешься. Особенно в непредсказуемых ситуациях – скажем, на войне или в больнице. Если ты сделал что‑то не так, как надо, либо понимаешь это сразу, либо убеждаешься позже – иногда спустя много лет.

Человек ведь не может не ошибаться. Даже не всякий приказ бывает продуман, очень часто отдаешь его непроизвольно. В данный момент тебе кажется, что надо поступить так‑то и так‑то, а через час ты понимаешь, что это было неправильно. Хорошо, если не закончится смертью. Но иногда заканчивается.

*– Ну и с этим надо что‑то делать.*

– Ничего не надо делать. Надо и дальше командовать, потому что это твоя задача, а если ты действуешь с наилучшими намерениями, то так и продолжай впредь. А если что‑то не получается, значит, ситуация такова, что получиться не может. Ясно, что ты – не Наполеон, но должен быть Наполеоном в меру своих возможностей.

*– Мы ведь обычно помним ситуации, когда сами оказались не на высоте. Например, отвернулись, когда кого‑то били.*

– Не знаю. У меня такая память, что из нее это вылетает. Я вообще не смотрю назад. В жизни всегда поступал примерно одинаково. Во‑первых, никогда никому не навредил. Это самое главное. А остальное… Так поступал, эдак, разные вещи делал, одних лечил плохо, других – хорошо. Ну и что? Впрочем, в медицине, когда через твои руки проходит масса больных, по‑всякому может получиться.

*– А разве врачу не приходится иногда ради спасения чьей‑то жизни нарушать правила?*

– Не будем об этом говорить, не то немедленно нагрянет какая‑нибудь комиссия по этике из министерства… Если бы меня с первых шагов контролировала комиссия по этике, я бы уже двадцать лет сидел в тюрьме. Мы делали все, чего нельзя было делать. Все вопреки правилам. Иногда ничего не получалось, но иногда больной выживал. И это было самое главное.

Попробуй сегодня сделать что‑нибудь на свой страх и риск – комиссия по этике обязательно вмешается. Мы давали больным разную пакость, сами не будучи уверены, что она поможет. Знали, что этого делать нельзя. Ну и что – если другого выхода не было? Человек на грани смерти, а эта пакость могла дать ему шанс.

*– Почему именно ваш коллектив решался на подобные шаги?*

– Не знаю. Что‑то ведь надо было делать. Как можно допустить, чтобы молодая девушка умерла, потому что вместо мармелада – идиотка! – съела крысиную отраву, в которой был таллий? Разве не надо попытаться ее спасти? Она все равно умрет… ну а вдруг эта пакость ей поможет? Я не знаю, он не знает, никто не знает, но попробовать можно. Ну и в тот раз аккурат получилось.

*– И что вы ей тогда дали?*

– Если я скажу «киацетан», вы все равно не поймете, что это такое. Это яд.

*– То есть против яда использовали яд?*

– Ой, какая разница! Вам хочется, чтобы все было по науке. Помогло ей и еще двоим‑троим? Помогло. И хватит об этом. Но конечно, всяко бывало. Однажды привезли целую семью, кажется, из Зелена‑Гуры. Отец работал там на какой‑то шахте и принес домой мешочек таллия, который принял за соль. Они посыпали этим порошком лепешки… той семье уже не удалось помочь. Скончались в течение суток. Все – из детей выжил только один мальчик. Ужасно.

А потом мы добились от министерства, чтобы в разные отравы запретили добавлять таллий.

Может, в результате это важнее, чем спасти пятерых умирающих из десяти?

*– А не взялась ли эта ваша склонность к риску из того, что вы привыкли рисковать во время войны? Просто сейчас врачи формируются в другую эпоху.*

– Возможно. Не знаю. Медицина меняется, врачи теперь меньше работают головой, больше полагаются на машины. В любом деле надо быть профессионалом и знать, что важно, а что нет. Если у тебя болит живот, ты либо тяжело болен, либо в целом здоров и только морочишь врачу голову.

Если врач не может в чем‑то разобраться сразу, он обращается за помощью к машине. А машина может показать, что больной здоров, а здоровый – болен.

*– Знания и умение думать – эффективнее аппаратов?*

– Наверняка. Между тем сейчас врачей учат, что для всего есть машина. Она за тебя дает ответ, она по капле крови сделает полный анализ – нужен он, не нужен, все равно сделает. Но хотя там вроде бы все данные, потом может оказаться, что они вообще к делу не относятся…

Ладно, хватит, это не вашего ума вещи.

*– Сколько лет было самому молодому члену ЖОБа?*

– Люсеку было тринадцать или четырнадцать.

В среднем нашим ребятам было лет по семнадцать‑восемнадцать. Некоторые успели закончить школу, значит, им было девятнадцать.

*– Почему не было никого старше? Потому что у этих были семьи и они за них боялись? Не верили, что имеет смысл бороться?*

– Тому, кто моложе, легче – вот ответ. Это очевидно. Почему в армию призывают двадцатилетних, а не сорокалетних? И почему в отборных гвардейских полках служат молодые люди?

Потому что, во‑первых, когда ты молод, тебе и в голову не приходит, что в тебя может попасть пуля. Думаешь, она попадет в кого‑то другого. Война – забава молодых. Старые идут на войну вынужденно – им смерть уже заглядывала в глаза, они уже видели, как умирала старенькая тетушка. А молодые даже этого не видели, и смерть для них – абстракция.

У нас возрастом никто не интересовался, но так уж получилось: все были очень молодые. Разве что за исключением Михала Клепфиша и Зигмунта Фридриха, но они были не просто бойцами, а командирами. Михалу было не меньше двадцати пяти или двадцати шести, он ведь уже закончил Политехнический. И Зигмунту, наверно, столько же, раз его дочке было лет пять и он уже зарабатывал. Забыл, где он работал – кажется, в каком‑то профсоюзе.

– А вы боялись?

– Чего?

*– Чего‑нибудь…*

– Если боишься, то ничего не делаешь. Если делаешь, значит, не боишься.

*– Иногда бывает, что боишься и все‑таки делаешь.*

– Вы анализируете состояние, которое длится один миг, секунду… Я не такой психолог. Я знаю, что иногда даже не успеваешь подумать, страшно тебе или нет.

Конечно, никому не хочется получить пулю в лоб. Поэтому ты ждешь, пока немец займется чем‑то другим, отвлечется, – тогда ты сможешь перескочить в более безопасное место. Но со страхом это не имеет ничего общего.

Страх парализует. Так я это понимаю. А если ты что‑то делаешь, значит, тебя не парализовало.

Возможно, тут происходит то же самое, что и в процессе психологических экспериментов на животных: даже если подопытное животное в каком‑то одном месте постоянно ударяют электрическим током, оно, несмотря на неприятные ощущения, в это место всегда возвращается, так как там есть корм или вода. Раз или два это неприятно, но потом животное перестает чувствовать удар током или не обращает на него внимания.

*– Человек привыкает жить с ощущением постоянной опасности?*

– Возможно, я боялся. Хотя… как можно, начиная что‑то делать, бояться? – ведь тогда у тебя руки трясутся и ноги подгибаются.

Вы страшные люди. И плохо подготовлены – знаете почему? Потому что не уловили заранее, какая тогда была атмосфера. Книжки читали бегло, как это свойственно журналистам. Халтурщики, вот вы кто, – каждую фразу надо было прочитать хотя бы два раза, чтобы все это уложилось в голове… Какой был климат, не понимаете. Спрашиваете: что я тогда чувствовал? Да вы вообще не понимаете, какое это было время. Чувствовал ли я что‑нибудь? Если что‑то чувствуешь, нельзя ничего делать. Сначала делаешь, а потом уже чувствуешь. Надо просто хорошо делать свое дело. А чувствовать? Не знаю, что это значит. Я правда не понимаю.

Вы задаете такие вопросы, что я диву даюсь. Взрослые люди, написали сотню или тысячу очерков, а толку никакого.

Когда немец стреляет, ты либо думаешь, что его проведешь и он в тебя не попадет, либо носа не высунешь из укрытия. Это игра: тот, в кого стреляют, играет с тем, кто стреляет. Жертва должна обмануть палача. А это требует от нее активности. Если жертва боится, страх ее парализует, а палач будет стрелять вволю и, пусть даже у него астигматизм, в конце концов попадет в цель.

Мы знали, что обречены на смерть. Но я не смирился с тем, что должен умереть. Когда во время восстания в гетто немцы закладывали взрывчатку вокруг наших позиций, ничего сделать было нельзя, и я лег спать. И заснул. Да и откуда мы могли знать, когда именно снаружи подведут запальный шнур. Пока был только слышен стук: бум, бум. Я проспал двенадцать часов, пока им не дали сигнал, что пора обедать, и они прервали работу. Вот тогда мы смогли оттуда уйти.

Человек часто не успевал испугаться. Когда мы убегали в бункер и меня сзади схватили за волосы и попытались вытащить, я просто вырвался – ни испугаться, ни даже подумать, как это страшно, у меня не было времени. Это ведь всё мгновения. Поэтому нельзя сказать, что я боялся.

Не знаю, что это такое: бояться. Не подумайте, что я идиот и не понимал, что, если высуну нос, меня могут застрелить. Но страх ли это? Ладно, довольно об этом. Поехали дальше – что там у вас дальше?

*– Вы когда‑то рассказывали о мальчугане, с которым встретились на Жолибоже во время Варшавского восстания …*

– Это был наш связной Воробей. Он жил на Жолибоже, но прибился к нашему отряду. У него была пилотка с орлом, повязка на рукаве – настоящий солдат. Малыш, но бегал – не догонишь. Почти при каждом отряде были такие ребятишки.

– А такие ребятишки не боялись больше, чем взрослые?

– Это у них нужно спросить. У ребенка вообще нет разума. Вот вы, например, – вы думаете каждый день о своей смерти? Нет. А ребенок думает еще реже. Поэтому нечего спрашивать: боялся, не боялся. Были девочки и мальчики, которые боялись, а были такие, что мечтали обзавестись десятком пистолетов. Дети, они и есть дети. Из этих отрядов их никто не выгонял. Да и поесть тут можно было. Отряды время от времени получали пайки, так что ребятам было где подкормиться. И дети эти вовсе не нуждались в помощи. Тогда главное было – спасать раненых, и помогали в первую очередь раненым, но это совсем другое.

Были также мамы, которые пытались прятать детей под юбками. По‑всякому бывало.

*– Но когда вы шли по открытой траншее на Жолибоже с этим мальчуганом, вам пришлось держать его за руку – так он боялся, просто трясся от страха.*

– Ничего он не трясся. Это вам кажется, что трясся. С чего бы ему трястись? Он ведь выполнял боевое задание. Он был солдат. Шел со мной, чтобы – по его понятиям – меня охранять. Не боялся он – если бы боялся, не пошел бы. Это ведь было необязательно. По правде говоря, он бы предпочел пойти с паном поручиком, а не со мной, простым солдатом, но с поручиком не получилось.

Я уже не помню, зачем мне понадобилось туда идти, ведь мой пост располагался в так называемых полицейских домиках около Потоцкой. Немцы тогда стояли по другой стороне этой улицы, в пожарном училище. А на нашей стороне, на Креховецкой, улица круто спускалась вниз. Там была вырыта траншея, но очень мелкая, человека закрывала только наполовину, так что идти надо было пригнувшись. Иду я, пригнувшись, с этим Воробьем, и мой связной, которому девять или десять лет, действительно держится за мою руку. Идем мы, а тут вдруг бзууу, бзууу… Начинают летать пули. Вдобавок траншея эта не доходила до конца улицы. Чтобы добраться до безопасного места, до подворотни углового дома, надо было пробежать кусочек по открытой местности. А немцы стреляют. Ну мы с этим Воробьем и сидим, его трясет.

Что делать? Невольно начинаешь думать, как бы ты поступил на месте немца. Ждешь, когда он отвлечется и хоть на минуту перестанет стрелять. Потому что нам, чтобы проскочить этот отрезок, хватило бы минуты.

Я не стану вам тут рассказывать, как психологически влезаешь в мысли врага, все равно вам этого не понять. Словом, наступил такой момент, когда я схватил Воробья за шиворот и перебросил в ту подворотню. Немцы, как это увидели, снова начали стрелять, но было уже поздно. Потом я еще подождал, пока им не надоест палить в нашу сторону, и проскочил сам.

Вскоре потом именно в этом месте подстрелили одного капитана, который участвовал в гражданской войне в Испании, и поэтому псевдоним у него был Испанец. Потрясающий малый, Генрик Возняк, один из командиров АЛ. Не кланялся пулям. Но там надо было пригнуться; в общем, ему прострелили почку. Это было днем, он до вечера пролежал в том месте, где его ранили.

Вечером мы с ребятами кое‑как погрузили его на носилки, потом втащили в траншею и в конце концов принесли в госпиталь, который был в подвале единственного дома на углу Креховецкой.

Врачом там был Хмелевский, студент из гетто, который учился медицине у знаменитого профессора Борковского. Борковский имел обыкновение приводить пятерых студентов в операционную – конечно, эта была кухня, где стояло пять столов, – ударял по камертону и говорил: «Аппендикс должен был удален за семь минут, это проще простого!» Хмелевский знал меня в лицо – мы работали в одной больнице в гетто. Я говорю: Испанец без сознания, а почка у него вдобавок облеплена песком.

Хмелевский взял тряпку, стер песок с этой почки, обмыл ее водой и обыкновенной швейной иглой зашил. Я ушел, Испанец там остался и вскоре умер. Конец.

*– А этот десятилетний связной Воробей?*

– Он выжил. Побежал к маме, а поскольку гражданских не убивали, попал в пересыльный лагерь и так далее…

*– Правда ли, что друзья не хотели, чтобы вы говорили об их будущем, поскольку в гетто вы предсказали, кто погибнет?*

– Не так было. В последний вечер, когда уже стало известно, что завтра будет акция, штаб ЖОБа собрался на Налевках, где жили Анелевич и Мира Фухрер. Штаб принял решение сопротивляться, и в шесть то ли в семь часов вечера, когда мы уже расходились, кто‑то сказал: интересно, как оно будет и кто выживет. Тогда я показал пальцем: ты – да, ты – нет, ты тоже нет. Такая дурацкая болтовня.

Но когда я потом – впервые, спустя много лет, – встретился с Целиной[[65]](#footnote-65), она мне сказала: «Отойди от меня. Не говори, жить мне или не жить». Потому что тогда все сбылось. Хоть убейте, не помню, на кого я показал пальцем. Но она прекрасно помнила, потому что оказалась в числе тех, кто должен был выжить. Кажется, все, на кого я указал, погибли, а остальные выжили – во всяком случае, вышли из гетто.

*– Потом вы, уже как врач, тоже предсказывали, кто из больных выживет, а кто нет.*

– Прошу не путать разные вещи. Я говорил больному, что он не выживет, когда на это указывали симптомы болезни, а еще потому, что за спиной у меня были пять лет учебы, да и позже я доучивался у других, как распознать, кто может выжить, а кто нет. То есть опирался на многолетний опыт. А это уже совсем другое знание.

Тогда же, останется ли человек жив, решал случай. Пуля попадала или не попадала.

*– Но когда умер Леон Файнер, который вел документацию и был казначеем Еврейской боевой организации, вы радовались, что он пережил войну и умер в своей постели.*

– Он умер еще во время войны, но уже после освобождения Люблина. Мы там пробыли два или три дня. В Люблине было хорошее кафе; нам захотелось съесть по пирожному. Было тепло, мы, кажется, стояли снаружи, и тут кто‑то пришел и сказал, что час назад Файнер умер в больнице. Все рассмеялись. Но вам не понять, что это был за смех.

*– Расскажите нам про Эльжуню, дочку вашего друга и члена Еврейской боевой организации Зигмунта Фридриха, которую вы отыскали после войны и опекали. Вы с женой были молоды, но влюбились в эту Эльжуню…*

– Что значит «влюбились»?! Разве можно влюбиться в шестилетнего ребенка?! Вы употребляете неправильные слова. Совершенно неподходящие…

*– Привязались – так лучше?*

– Да. Но «влюбились»?! Вы оперируете понятиями из желтой прессы. Нельзя так говорить о действительно важных вещах!

Зигмунт, когда уже начались бои, сказал мне: «Знаешь, я не выживу, а моя дочка спрятана в монастыре». Неподалеку от границы бывшей Польши. Он сказал, что ее охотно отдадут, потому что там у них уже много еврейских детей. Так мы и сделали. За ней поехала Ирка, а может, Марыся – не помню. И монахини ее отдали. Дорога была трудная, но девочку привезли в Варшаву. Мы ее поселили на Крохмальной, 5, у некоего Янека – хорошего, «своего» парня. У Эльжуни были светлые волосы; маленький ребенок, она не привлекала внимания. Играла с соседскими детьми. Все необходимое у нее было.

Но когда в августе 1944‑го началось Варшавское восстание, Янек, хозяин квартиры, был в отряде на Старом Мясте и не мог пробраться домой. А его жена – простая деваха, водила дружбу с сомнительными личностями, – поняв, что больше денег она не получит, выгнала Эльжуню. В конце концов приехали люди из ГОСа, Главного опекунского совета – легально действующей организации, которая помогала самым бедным детям. Они забрали Эльжуню вместе с другими детьми с улицы и отвезли, кажется, под Брвинов. Там был приют для нескольких сотен детей. Некоторых брали к себе окрестные жители. Эльжуню взял один мельник. Она пасла гусей то ли коров, хотя никогда раньше этого не делала. Близилась зима, а мельник не купил ей обуви. Мимо пастбища проходила какая‑то женщина из Жирардова, увидела босую девочку, узнала, что та – «из Варшавского восстания». Пошла к этому мельнику, и он согласился отдать ненужную ему Эльжуню. В Жирардове ей было, кстати, хорошо.

Когда война закончилась, никто из нас понятия не имел, где Эльжуня. Я только знал, что Янека нет в живых. Во время Варшавского восстания я тоже был на Старом Мясте. Янек, раненный в ногу, лежал в повстанческом госпитале возле гарнизонного костела, первая койка от входа. С простреленной ногой он не мог спуститься в каналы. После капитуляции Старого Мяста его прямо на этой койке убили. Когда я пришел туда полгода спустя, в январе 1945‑го, нога в гипсе все еще лежала на полу.

Жену Янека никто не знал, и неизвестно было, где ее искать.

Не помню, как нам удалось выяснить, что детей с Крохмальной забрал ГОС. В картотеках ГОСа в Милановке мы нашли ее фамилию, значившуюся в кенкарте[[66]](#footnote-66), и информацию о том, что ее взял этот мельник. Не помню, кто к нему съездил и привез известие о том, что Эльжуня в Жирардове. Я поехал в Жирардов на машине представителя американских евреев в Польше. На этой машине был американский флажок. Приехали мы туда, а ребятишки кричат: «Эльжуня, убегай, не то евреи тебя заберут. Давай, Эльжуня, беги быстрее!» А та женщина не хотела ее отдавать. Говорила, что Эльжуня читает ей перед сном сказки. Вдобавок милиция схватила в лесу ее младшего сына. Он был с оружием, так что его посадили за решетку.

Уж не буду рассказывать, как все происходило. В конце концов эта женщина получила большую сумму. Она хотела, чтобы сына выпустили, потому и взяла деньги. А я пошел в прокуратуру на Праге и говорю: «Да это же шестнадцатилетний мальчишка, сопляк, ни в каких партизанах он не был», – и рассказал всю историю. А поскольку арестантов держали прямо рядом с кабинетом прокурора, тот позвал унтер‑офицера: «Дать этому сопляку поджопник и вышвырнуть». Так и сделали, и назавтра эта женщина привезла Эльжуню, а мы увезли ее в Лодзь.

Через пару дней девчушка освоилась. Только каждый день падала на колени, возводила глаза к небу и читала молитву. А когда ее мыли, всегда сжимала один кулачок, и никакими силами не удавалось ее уговорить его разжать. Ладно, нет так нет. Но мы увидели, что, читая молитву, она поглядывает на свою ладошку. Оказалось, там написана ее настоящая фамилия. Три года она ее хранила на ладошке.

*– И это была фамилия Фридрих.*

– Да. Такие вот дела. Потом она пошла в школу. На второй или третий день говорит, что больше ходить не будет, потому что мама Зоси или Труси сказала дочке, чтобы та не садилась за одну парту с еврейкой. Я спрашиваю: «А откуда эта мама узнала, что ты еврейка?» А она: «Потому что я сказала, что была в монастыре, но как еврейский ребенок».

Разразился скандал, и Эльжуня действительно перестала ходить в школу. К счастью, учительница была толковая: взяла весь класс и привела к нам – вроде бы навестить заболевшую Эльжуню. Словом, как‑то помирились, Эльжуня стала ходить в школу, у нее появились подружки.

А самое интересное было, когда она заболела ветрянкой, и ухаживать за ней прислали немку из лагеря для бывших фольксдойче[[67]](#footnote-67). Их там кормили, кажется, даже давали какие‑то деньги, и они нормально работали. Немка осталась дома с больной Эльжуней, а мы ушли на работу. Я возвращаюсь домой, смотрю: дверь открыта настежь, Эльжуня сидит на полу, а немки нет. Оказалось, к ней пришел милиционер и принес разрешение на отъезд в Германию, так что она просто бросила ребенка и ушла, даже не закрыв дверь.

Это я просто так рассказываю. Шутки ради.

Но потом был келецкий погром. Приехала пани Ивинская, известный адвокат, которую в 1939 году, как члена городского совета, вместе с мэром Варшавы Стажинским взяли в заложники. Мы едем на извозчике, и она мне говорит: «Эльжуня спасена, но имеешь ли ты право ее здесь удерживать? Если в Лодзи будет погром и ее убьют, это будет на твоей совести».

Эльжуни при этом разговоре не было. А Ивинская настаивает: мол, я отвечаю за девочку, то, сё. Я говорю: «Посмотрите, сколько у меня дома оружия». А она: «Оно нелегальное. Тебя еще за это посадят». Такой вот разговор. Ивинская пользовалась огромным авторитетом. Убеждала меня, настаивала: надо отправить Эльжуню на Запад. Говорила, что нашла для нее чудесных, богатых родителей. Владельцев большого книжного магазина в Нью‑Йорке. И действительно, они оказались очень порядочными людьми.

Ну и Эльжуня села в поезд и поехала в Швецию. Туда приехала ее новая мама, сразу купила ей пони, велосипед, лодочку… Уж не знаю, что еще. Карусель, наверно, тоже… шутка. И увезла в Америку. Там эта принцесса блестяще сдала все экзамены и поступила в университет. На втором курсе получила стипендию на учебу в Лондоне. Но ехать отказалась. Ее подцепил какой‑то парень, они поженились. А потом, неизвестно почему, Эльжуня покончила с собой. Вот такая история…

Перед тем они целую ночь проговорили с Иренкой Клепфиш, дочкой Михала Клепфиша. Иренка говорит, что не заметила никаких признаков депрессии или чего‑либо подобного…

Назавтра Эльжуня поехала в университет, за 200 километров. Не доехала. Приемный отец прямо обезумел: где она?! Ему было почти восемьдесят лет, он ее обожал. Жена ревновала его к этой девятнадцатилетней девочке. Полиция нашла ее в каком‑то придорожном мотеле.

*– Вы с ней переписывались, когда она была в Штатах?*

– Да. Но писем этих у меня нет, Аля[[68]](#footnote-68) забрала. Эльжуня писала: я все понимаю. Понимаю, почему они меня забрали из Швеции. Но почему от вас они меня забрали?

Что ответишь такой глупышке?

*– Мы тоже хотели об этом спросить.*

– Я же сказал. Ясно ведь почему. Зачем было ей это объяснять? Впрочем, она… ладно, не важно. Прежнего не воротишь. А какова была причина самоубийства, я правда не знаю. У нее там все складывалось как нельзя лучше.

*– Вы говорите, она спрашивала: в Швецию вы могли меня отправить, но как могли меня отдать…*

– Как всякие журналисты, вы опять все переиначиваете. Она сказала: «Я все понимаю, но почему от вас уехала, мне непонятно. Почему вы меня отправили в Швецию?» Вот и все. Не создавайте мифов. Она была маленькая, ей тогда было девять или десять лет, и здесь ей было хорошо. Хотя я не был добрым папочкой.

*– Действительно сразу после войны была такая антисемитская атмосфера, что надо было ее увезти?*

– Был погром в Кельце, был погром в Кракове, да и в других местах убивали евреев. Убили мою приятельницу – она ехала на грузовике, потому что жила в Пабьянице, а других средств сообщения не было. Ее одну вытащили и застрелили прямо на дороге. Поезда останавливали: входили в вагон и тех, кого принимали за евреев, убивали. Одного за другим. В так называемых вагонных акциях погибли несколько сот человек.

После погрома я ехал в Кельце на санитарном поезде и видел лежащих на станциях убитых евреев. Говорю вам, так было везде. Вот вам и антисемитская атмосфера.

*– Вам никогда не хотелось объяснить Эльжуне, почему вы ее отправили за границу?*

– Нет, мне – нет… А вы что, судьи?

*– Нет, но, может, надо было попытаться ей объяснить. Просто по‑человечески. В конце концов, она была маленькая, дети нуждаются в объяснениях.*

– Я ее больше не видел и ничего не объяснил.

Пани Ивинская говорила: «Увидишь, как ей будет хорошо. Они богатые, она девочка, будет жить как в раю. А что ты можешь ей дать?» Кто‑то еще добавлял: «Будь Зигмунт жив, он наверняка бы предпочел, чтобы она жила в Америке, а не здесь, у тебя». Такой вот разнообразный шантаж, ну и…

*– А когда вы узнали, что она покончила с собой, вы себя не возненавидели?*

– Послушайте, наглецы, перестаньте лезть в душу. Вам бы только о душе…

*– Но ведь Зигмунт был вашим товарищем.*

– Извините, но здесь она тоже могла покончить с собой. Никаких причин для самоубийства у нее не было, видно, что‑то в голове помутилось.

А если бы она здесь покончила с собой, тогда что? Странные вещи вы говорите: если бы да кабы… Я не знаю, что бы было…

Хотите, чтобы кто‑то почувствовал себя виновным в том, что другой человек по какой‑то причине с собой сделал?

Не получится.

Видно, что‑то у нее в уме происходило… Не потому, что она отсюда уехала, и не потому, что жила в монастыре и коленки у нее были стерты и тому подобное. Не поэтому. Что‑то там было… Она жила в идеальных условиях, мало кому из детей на свете жилось так хорошо, как ей, так что кончайте говорить глупости!

Вам одно нужно: чтобы я бил себя в грудь и каялся за то, что она покончила с собой без причины, ну или, может, были причины… психические.

Вам нужно, чтобы я чувствовал себя виновным. Это бы вам понравилось.

*– А вы были строгим отцом? Мы понимаем, психология…*

– Мои дети выросли людьми. Оба. А каким я был, не важно…

###### Станислав Краевский

Марек Эдельман – личность необыкновенная. Во многих отношениях; в частности потому, что был воплощением противоречивости. То, что он говорил, противоречило тому, что делал. Он говорил о человеке, как о частице природы: будто бы человек всего‑навсего животное. И одновременно безоговорочно следовал нравственным законам, то есть вел себя совершенно не так, как животное. В обеих этих ролях он занимал крайние позиции. Говоря о человеке с позиции естествоиспытателя, не оставлял ему места для свободного волеизъявления. А когда требовал быть нравственным, исходил из того, что мы обладаем неограниченной свободой воли. Такого рода противоречивость часто встречается, но столь ярко выраженная – редко. Он говорил, что поведение человека определяют только врожденные рефлексы. Охотно приводил сравнения с поведением животных, например звериных стай, в которых самых слабых особей защищают, но если это невозможно – их бросают. И одновременно он был из тех людей, о которых с полнейшей уверенностью можно сказать: такой – вопреки всему – тебя не бросит. Поэтому следует принимать во внимание не столько его слова, сколько поступки. Точнее, его рассказы, вытекающие из опыта, а не общие рассуждения об устройстве мира и о том, что Бога нет.

В еврейской традиции вера – не самое важное. Гораздо важнее поведение человека. Вера бывает непрочной, бунт против Бога – часть взаимоотношений с Богом. Убежденный атеист остается человеком. Главное, чтобы он был человеком порядочным. Оценивать каждого надо по тому, как тот себя ведет. Да, по традиции человек должен быть на высоте требований – и моральных, и ритуальных. У евреев не десять, а шестьсот тринадцать заповедей. Но в жизни все гораздо сложнее.

Эдельман во время войны оказывался в ситуациях, настолько далеких от нормальных, что – и это правильно – не считал разумным всегда следовать обычным правилам. Еврейская религиозная традиция этому не противоречит. Известно, что заповеди нужно интерпретировать в зависимости от ситуации, в которую человек попадает. Например, во время войны некоторые раввины заменяли традиционную идею освящения божественного Имени *(кидуш хашем* ), то есть мученичества (уповай на Бога, даже если ради этого придется пожертвовать жизнью), более подходящим к беспрецедентной ситуации постулатом почитания жизни *(кидуш хахаим).* А Эдельман, со времени памятного интервью, которое взяла у него Ханна Кралль, учит меня и всех нас, что заповедь, требующая почитать родителей, может означать призыв отправиться с ними в Треблинку. Чтобы не оставлять их без опеки. И что больше героизма проявляет не тот, кто стреляет, а тот, кто отдает другому свой цианистый калий.

Для Марека Эдельмана главное – человек, а не судьба евреев. Оказалось, что для него еврей – тот, кто живет в сообществе других евреев, с которыми говорит по‑еврейски. Оказалось, что, в сущности – я должен это сказать и стараюсь говорить нейтральным тоном, хотя понимаю, что звучит это язвительно, – настоящими евреями он считает еврейские трудящиеся массы, создающие культуру на языке идиш. Таких масс уже нет, даже отдельных личностей почти уже нет, а значит – по его мнению, – нет и евреев. Мое – и подобных мне выходцев из ассимилированных семей – мнение было и остается совершенно иным. Можно стараться быть евреем даже в одиночку; если таких наберется десяток, можно вести полноценную религиозную жизнь. Даже если не знать ни слова на идише.

Соблюдение заповедей – форма свидетельства об Откровении. Это миссия. И задача этой еврейской миссии, во‑первых – оценка истории с наивысшей, абсолютной точки зрения, а во‑вторых – культивирование надежды на радикальное улучшение мира, то есть надежды абсолютной. Этот, как говорит Левинас, «терпкий вкус абсолюта» хранится в наших священных текстах, вернее, в традиции их изучения, а также в укоренившихся ритуалах. Марек Эдельман полностью игнорировал как ритуалы, так и тексты. Он одновременно олицетворял собой абсолютную моральную оценку и абсолютную надежду Таких людей не могут заменить нам традиции.

Великий религиозный мыслитель Авраам‑Иешуа Хешель, тоже родом из Варшавы, подчеркивал, что не только человек ищет Бога (Эдельман, слыша такое, возмутился бы), но и – что важнее – Бог ищет человека. Я не знаю никого, кто бы стал раздумывать, попроси его указать направление этих поисков: Эдельман оказался бы одним из первых в списке кандидатов.

Станислав Краевский – философ, математик и публицист. Родился в 1950 году; активный деятель варшавской еврейской общины, сопредседатель Польского совета христиан и иудеев, научный сотрудник Института философии при Варшавском университете. Автор многих публикаций, посвященных межрелигиозному диалогу и истории евреев – в частности, книг «Тайна Израиля и тайна Костела» и «Евреи, иудаизм, Польша».

## *Не убивай*

Не убивай – хотя многие считают, что правильнее было бы перевести слова этой заповеди: «Не совершай преступления убийства». Разница налицо. Нельзя незаконно отнимать жизнь, ибо это унижает достоинство человека, созданного по образу и подобию Божьему, и никому из людей не дозволено узурпировать право Бога распоряжаться человеческой жизнью. Хотя в Ветхом Завете прямо не говорится о последствиях нарушения этой заповеди, тем не менее ясно, что одним из многих наказаний за преступление убийства является кара смерти. Однако Христос в Нагорной проповеди ужесточил требования, запретив убивать врагов и даже совершать поступки, порождающие ненависть. Слово ведь тоже может убивать.

Но разве убийство (но не преступление убийства) – всегда нарушение Божьей заповеди? Даже во время войны, когда человек вынужден защищаться? Споры об этом ведутся столетиями. Пожалуй, наиболее резко высказывался Иоанн Павел II, осуждавший убийство не только невинного, но и агрессора.

8 сентября 1942 года, во время так называемой большой акции по уничтожению гетто, когда нацисты каждый день вывозят тысячи людей в Треблинку, они входят и в детскую больницу. Адина Бляды‑Швайгер (Инка)[[69]](#footnote-69), юный врач, чтобы не подвергать мучениям своих маленьких пациентов, дает им яд…

###### \* \* \*

*– Вы нам рассказывали, как на одном из совещаний Еврейской боевой организации был пойман парень, который, возможно, вас подслушивал. И решено было его убить, поскольку он мог оказаться агентом гестапо.*

– И его убили.

*– Но ведь не было стопроцентной уверенности, что он агент?*

– Стопроцентной уверенности в его виновности не было… Но кто‑то видел, как он выходил из дома, где находилось гестапо. Теперь трудно это восстановить… Да и не важно: возникла угроза. Это был чужой человек, никто его не знал, а он просунул голову в вентиляционное отверстие над помещением штаба и подслушивал. Потом он говорил, что хотел записаться в какую‑нибудь вооруженную группу. Неизвестно. Но оставлять его в живых было слишком опасно.

*– Как реагировали молодые ребята из ЖОБа, ваши подчиненные, когда им доводилось впервые кого‑то убить? Они ведь не были солдатами, которых учат убивать.*

– Во‑первых, убивали не все. А ребят, которые убили Носсига и Фирста, евреев, сотрудничавших с немцами, я плохо знал. Было двое или трое парней, которые ловко и быстро исполняли приговоры. Но про их ментальность я ничего не могу сказать.

Израэль Канал выстрелил в начальника еврейской полиции Шеринского[[70]](#footnote-70), но только ранил его. Приговор Шеринскому был в первую очередь политической демонстрацией, ну а что думал Канал, пытаясь выполнить приказ, я правда не знаю. Да и никто его об этом не спрашивал.

Дело тут было не в переживаниях, а в масштабах: немцы убивали миллионы людей, а мы решили убить одного человека, чтобы показать, что существует сопротивление. Жест чисто политический – что было взять с Шеринского, он был только исполнителем. Кстати, до того немцы на пару месяцев посадили его в тюрьму – почему, неизвестно, – а потом выпустили, тоже неизвестно почему. В конце концов он покончил с собой – видно, все‑таки мучили угрызения совести.

Мне трудно это описать с точки зрения психологии. Сам я никакой психологией не руководствовался. Разве что старался действовать так, чтобы все было тихо‑спокойно: чтобы пекари давали мне каждую ночь по сорок кило хлеба и чтобы проходило это гладко, чтобы телега с этим хлебом приехала вовремя, чтобы отдел снабжения выдавал на наши нужды 250 тысяч злотых и так далее.

Масштабы разные. Вы ищете какие‑то нравственные подтексты, а это просто была практика, это была жизнь, иначе было никак нельзя.

*– В конце войны вы с группой тех, кому удалось уйти из Варшавы после восстания, попали в Гродзиск‑Мазовецкий. И там прятались на втором этаже дома, где на первом этаже был пост немецкой уголовной полиции…*

– Ох, как им нравились наши девушки! На Новый год они напились, поднялись наверх и бегали за этими девушками вокруг стола. А в сортире висел портрет Гитлера… Это было уже хорошее время. Немцы уехали 17 января, когда началось наступление[[71]](#footnote-71), потом вернулись на час и снова исчезли, уже окончательно.

*– …но если бы они сообразили, что вы евреи, то вы бы, вероятно, начали в них стрелять?*

– Неизвестно. Во‑первых, им было уже не до евреев. Они думали, как бы удержаться здесь, на спокойном посту, а не идти на фронт. Это были немолодые люди, мы с ними практически не соприкасались. Смотрели: если никого нет в сортире, можно туда пойти. А если кто‑то из них там, не шли. Хотя они подолгу сидели, потому что там и газету можно было почитать, и пепельница была.

*– Расскажите, как лично вы, когда речь шла о жизни и смерти, принимали решение: стрелять или пытаться спастись другим способом?*

– Ничего не могу сказать. Там причин стрелять не было – немцы сами прикидывали, как бы получше спрятаться. Вот и все. Это была группа пожилых людей, из фольксштурма[[72]](#footnote-72), они патрулировали весь Гродзиск.

*– Нам не дает покоя одна история, а вы не хотите об этом рассказывать. В гетто в бункере с вами были две проститутки. Они вам помогали, ухаживали за вашими ранеными. А когда вы собрались уходить по каналам на арийскую сторону, хотели пойти с вами, но вы лично им не позволили. Они остались. Почему не позволили?*

– Потому что у меня одно только было в голове: я отвечаю за сорок своих людей. А человека, с которым общался два дня, я не знаю. Не уверен, как он себя поведет.

Главным у нас был принцип: все должны друг другу доверять. Казик пришел с арийской стороны именно за нашей группой, и мы это организовали ради людей, которым доверяли на сто процентов – знали, что они не подведут. А как поведут себя чужие люди, не знали. Как можно включить в слаженную группу двух чужих человек? Пусть даже они кормили раненного в плечо паренька – это еще ничего не значит. Это об их характере ничего не говорит.

А девушки были очень славные и… хотели с нами пойти. Вообще‑то люди боялись спускаться в каналы.

*– Почему же вы не объяснили этого Ханне Кралль? Она видела это по‑другому…*

– Не знаю, что там она видела. Не хочу говорить о такой чепухе.

*– Однажды вы нам сказали, что никогда не слышали от больного: с меня хватит, мне так больно, что лучше уж умереть.*

– Никто мне такого не говорил. Люди хотят жить. Еще раз увидеть внучку, еще раз посмотреть на солнце. Не хотят умирать: даже если очень мучаются, хотят, чтобы, самое большее, не так сильно болело.

Ясно, что, если у кого‑то оторвана голова или что‑то в этом роде, уже ничего не поделаешь. Но даже тогда нельзя решать, что это уже конец.

У меня был такой случай: женщина родила ребенка, но впала в кому. А сердце у нее продолжало биться. Проходит неделя, другая, третья, муж приезжал каждый день, привозил яйца, хотя, разумеется, она была на искусственном питании и тому подобное. Лежала без сознания, в конце концов даже ксендз на мессе в ее родной деревне сказал, что муж не обязан сохранять ей жизнь, потому что она – уже другой человек, душа ее давно отлетела. Что можно уже не носить ей яйца.

Одна из наших врачей лечила всех епископов. Мы ей сказали: сходи к своим епископам и расскажи им эту историю. Она пошла, ксендза этого выгнали, а через каких‑то полгода та женщина проснулась. Встала с постели и стоит – это при искусственном кормлении! И выжила – смогла вернуться к своему ребенку, к семье.

Такое тоже случается. Нельзя заранее решать: этот не жилец. Иногда человек полгода спит, а потом оживает. Ясно?

*– В 1999 году вы обратились к президенту Клинтону и другим руководителям НАТО с призывом ввести войска в Косово, чтобы не допустить этнических чисток, угрожавших жителям этой балканской провинции. В польской прессе тогда было опубликовано письмо группы женщин, протестовавших против отправки в Косово польских солдат: польские матери не хотят, чтобы их сыновья погибали на войне.*

– Я написал письмо Клинтону и другим, чтобы сухопутные войска НАТО вмешались в ситуацию на Балканах, потому что шовинизм надо задушить силой. Письмо опубликовала «Нью‑Йорк таймс», и когда американское правительство решило принять участие в войне, то сослалось, в частности, на это письмо. Американцы хотели показать, что и в Европе их поддерживают. Это не моя заслуга – это доказательство влиятельности «Нью‑Йорк таймс»: президент считается даже с тем, что у них напечатано мелким шрифтом на третьей полосе.

*– Однако Клинтон не случайно процитировал ваш призыв на саммите НАТО, посвященном пятидесятилетней годовщине подписания Североатлантического пакта. Потом вы ездили с гуманитарными конвоями в Сараево и поддержали антисаддамовскую интервенцию в Ирак. Но в Польше снова раздались голоса: зачем нашим ребятам ехать с миссией за границу – на Балканы или в Ирак, – раз они там могут погибнуть, а возможно, им самим придется убивать.*

– Трудно предъявлять претензии американцам за то, что они не представляли себе, что будет с Ираком, после того как свергнут Хусейна. Ясно также, что весь Ближний Восток зависит от нефти, что политические и религиозные интересы тесно связаны с нефтяными интересами и с огромными деньгами. Не все так просто, как кажется, ведь игра ведется за то, сколько долларов можно выручить за баррель.

С этим приходится мириться, но непременно надо знать, чего ты хочешь. Нельзя допустить, чтобы черные силы, которые управляют нефтью, имели решающий голос и правили миром. Вот что самое главное.

Не знаю, с какими намерениями Америка вторглась в Ирак и что она рассчитывала получить. По‑моему, на многое не рассчитывала, да это и не важно. Важно другое: воевать они решили не за нефть, а за идеологию. В XX веке произошел колоссальный перелом: мир занялся тем, чтобы помешать диктатору отравлять химическим оружием тысячи курдов. Вот оно – самое существенное.

А то, что проблема с курдами остается нерешенной? Ничего страшного – мало‑помалу решится. Надо только запастись терпением. Нужно много, очень много терпения, чтобы дикий зверь превратился в цивилизованного человека: усвоил все человеческие законы и признал, что жизнь – важная штука. И что нельзя убивать ради двух или десяти танкеров с нефтью.

Поэтому я был за то, чтобы покончить с диктатурой в Ираке – не потому, что она зарабатывала на нефти, а потому, что уничтожала людей.

*– Но что отвечать пацифистам, которые говорят, что самое главное мир, потому что война это всегда смерть?*

– Пацифисты как с луны свалились, они не понимают, что, не будь мощного сопротивления диктатуре, фашизму, коммунизму, пацифизма бы не существовало. Что это такое: пацифизм? Я не слыхал, чтобы пацифисты громко протестовали против того, что в мракобесных арабских странах забивают камнями женщину, которая переспала с любовником. Максимум, что‑то тихонько вякнут – не больше того. Обрушиваются с криком на демократические правительства, но не трогают настоящие, жесткие диктатуры. Вот какие они, пацифисты. Во всем, что ни делают, по сути, заложено пренебрежение к человеческой жизни.

*– Значит, человек имеет право убивать, если защищает свою жизнь и жизнь своих близких?*

– Это всё теоретические рассуждения. Каждый человек защищается, каждый хочет жить… Как не защищаться, если тебя хотят убить?

*– Вы когда‑то сказали нам очень важную вещь: в гетто стреляли не обязательно для того, чтобы убить. Иногда только чтобы напугать.*

– Да, но в конечном счете убивать приходилось – недаром для этого выбирали не ангелов, а бандитов. Цель была, в частности, такая: чтобы другие бандиты испугались и поумерили свой пыл.

*– Какое у вас было оружие? Из чего вы сами стреляли? Из пистолета или…*

– По‑разному бывало. Когда‑то у меня даже был ППШ.

Тогда было много вроде бы «специалистов»… Антек[[73]](#footnote-73), например, впервые выстрелил из противотанкового ружья во время Варшавского восстания. Он не знал, что нужно открыть рот, и сразу оглох, и потом всю жизнь был глухим на одно ухо. Вот вам прирожденный стрелок…

Да ну, вы глупые, вам этого не понять.

*– Мы даже не знаем, как выглядит противотанковое ружье и как из него стреляют.*

– Оно тяжелое, носили его вдвоем. А вам нужно пройти начальный курс обучения.

*– Нам уже не нужно, но мы хотим, чтобы люди знали.*

– Да, вам уже ничего не поможет.

###### Кристина Захватович

Мне очень трудно сказать про Марека: БЫЛ.

Нам очень его не хватает – его мудрости, исключительно справедливых суждений, снисходительности, тепла, – но я верю, что его слова, его поступки накрепко запали в память и, к счастью, останутся с нами навсегда.

Познакомились мы с ним, если не ошибаюсь, в 1980 году, во времена «Солидарности», когда Лех Валенса создал Фонд здоровья «Солидарности», куда вошли известные врачи – Марек Эдельман, Зося Куратовская, Анджей Щеклик (а я была секретарем Фонда).

Все мы верили, что сумеем создать службу здравоохранения, независимую от государственной, – разумеется, это было невозможно. Но если нам тогда удалось достать аппаратуру для маммографических исследований и для слабослышащих детей, то в основном благодаря упорству Марека. Нам очень помогала его жена Алина Марголис – врач‑педиатр, замечательный человек: она с 1968 года жила во Франции и работала в организации «Врачи без границ».

Марек был очень общительным и любознательным – до самого конца он просил друзей его навещать, расспрашивал, что происходит в мире и особенно в Польше. При этом – внимание! – он был крайне чувствителен ко всякой фальши. Людей неискренних отвергал сразу. И уж в особенности тех, кто пытался к нему подлизываться, льстил…

Признавал он только тех, кто способен был проявить независимость. И сам хотел, чтобы его принимали таким, какой он есть, – а он бывал порой чересчур категоричен, я хорошо помню его: «Сиди тихо, глупышка, ты в этом ничего не понимаешь…»

Он был очень верным другом. Помню, когда Анджею делали операцию на сердце и я все время сидела с ним в больнице – а тогда уже появились первые сотовые телефоны, – Марек каждый день звонил мне по мобильнику, чтобы узнать, как Анджей себя чувствует, но первым делом спрашивал: «Ну, что еще ему сделали эти коновалы?» И успокаивался только после того, как я подробно докладывала, что было сделано. Тогда он бормотал: «Ну хорошо, хорошо…»

Тогда, в ходе этих разговоров, Марек рассказал мне о своей работе с профессором Молем в Лодзи – о первых операциях с использованием байпасов и о том, как на кардиологическом конгрессе им кричали: «убийцы»… Сегодня установка таких байпасов – почти рутинная процедура, они спасают жизнь сотням людей, но в то время часто случался смертельный исход, поскольку оперировали только тех пациентов, кто был уже в очень тяжелом состоянии, безнадежных… Для меня это было живым примером того, как старался Марек «опередить Господа Бога».

Кристина Захватович – художник театра и кино, актриса; закончила отделение истории искусств Ягеллонского университета и Краковскую академию изобразительных искусств; много лет выступала в кабаре «Пивница под Баранами»; как сценограф в основном была связана со Старым театром в Кракове, преподает в Краковской академии изобразительных искусств. Жена кинорежиссера Анджея Вайды, дочь архитектора и историка архитектуры Яна Захватовича, внучка психиатра, политика и общественного деятеля Витольда Ходьзко.

## *Не прелюбодействуй*

Эту заповедь можно трактовать как запрет супружеской измены – большинство наверняка с этим согласится. Однако по сути ее смысл гораздо шире: запрет распространяется на всю интимную сферу жизни. Только вот сегодня такие запреты многим могут показаться неудачной шуткой. Тут секс и здоровье, а там – ограничения? Нет, в современном мире того, кто попытается вмешаться в эту сферу, подымут на смех – у него нет шансов на успех. Так, может быть, сейчас из этой заповеди следует извлечь еще один смысл – может быть, речь в ней идет просто о прочности чувств? Ну а как себя вести в экстремальных ситуациях?

Марек Эдельман в книге «И была любовь в гетто» вспоминает сочельник 1942 года, когда в квартиру, где жили четыре связные Еврейской боевой организации, неожиданно, перед самым комендантским часом, постучался старый еврей, только что сбежавший из полицейского участка. Идти ему было некуда, и он остался у девушек на Рождество, а потом все пятеро легли спать на полу. И «одна из наших связных целую ночь на глазах у всех занималась с ним любовью. <…> Этот старый еврей с длинной полуседой бородой влюбился в нашу связную и остался с ней. Они не расставались до начала Варшавского восстания. Такая большая была любовь, что они забыли про всякую осторожность и ходили по городу, держась за руки».

###### \* \* \*

*– У вас бывали в гетто приятные минуты?*

– Ну, целоваться с девочками было приятно.

*– Вы говорите, что самое главное – жизнь, а свобода на втором месте… и часто повторяете, что в гетто, кроме смерти, страха, голода, была и любовь.*

– Без любви никто бы не выжил. Без близости, без ощущения безопасности, без поддержки… Это необязательно должен был быть парень, это могла быть мать, сестра… Одному было очень трудно. Кое‑кто из парней еще мог быть один, но девушки – нет.

Помню Злотогурского и его девчушку… Здоровенный был мужик, выходил из гетто, приносил нам хлеб и другие вещи. А она была крохотная, но прехорошенькая. Блондинка. В комнате, кроме них, спали и ходили между кроватями еще двадцать человек. Встаешь утром, а эта девочка лежит у него на плече, вся величиной с его руку, – видно было, чувствует себя в безопасности, потому что он рядом, потому что она целиком поглощена им, их любовью. Конечно, потом оба погибли, но это совершенно не важно. То время, что они были вместе, они прожили в покое. Такая девчушка ни дня не прожила бы одна. А так ей выпали два‑три месяца радости, любви, тепла, безопасности. Ясно, что безопасность была относительная. Но, повторяю: в тех условиях ей обеспечил минимум безопасности этот огромный парень, к которому она могла прижаться, обнять рукой за шею. Она не была одна.

Одиночество – страшная штука. Одинокие люди сплошь и рядом погибали. Да, были активные ребята, которые продержались в одиночку, хотя и у них всегда была какая‑то поддержка – товарищей, родных или кого‑нибудь на арийской стороне.

Поэтому так важно было иметь *свиве* – не столько «среду», «окружение», сколько ощущение поддержки, особой ауры: сейчас мы вместе.

*– Не само ли сознание, что в любую минуту можно погибнуть, вызывало такое жадное желание жить на полную катушку?*

*Вы рассказывали о девушке, чья мать покончила с собой, чтобы дочке достался ее «талон на жизнь», то есть справка, свидетельствующая, что, несмотря на ликвидацию гетто, обладатель такой справки все еще нужен для работы – это позволяло прожить на несколько месяцев дольше. Та девушка влюбилась в какого‑то парня, он был ее первый мужчина, и они занимались любовью, ни на кого и ни на что не обращая внимания. Наконец‑то она начала что‑то получать от жизни и хотела в максимальной степени это использовать.*

– Неправда. Она осталась одна в большой квартире на Павьей, 2. Пришел парень, она в него влюбилась, а у него была возможность выйти на арийскую сторону, и они вместе вышли. Это была ее первая любовь, она впервые легла с парнем в постель и три месяца была счастлива. Ее выдали, оба погибли, но эти три месяца для нее были… лучше не бывает.

В одиночку она и дня бы не прожила, потому что в гетто постоянно были облавы, а этот парень повертелся‑покрутился и нашел способ вывести ее на арийскую сторону, где у него было какое‑то жилье.

Обратите внимание: мало кто выжил на арийской стороне без всякой помощи. Это было невозможно. Почти у всех там были какие‑то связи: либо с подпольными организациями, либо с друзьями, либо с довоенными организациями, либо со знакомыми.

Но главным тут были вовсе не знакомства, главным было это ощущение безопасности, когда рядом друзья. Взять хотя бы доктора Голиборскую: она имела все возможности перебраться на арийскую сторону, но считала, что, поскольку до войны заведовала лабораторией в больнице Берсонов и Бауманов, то и во время войны обязана продолжать там работать. И хотя могла не идти в гетто, пошла туда и руководила этой лабораторией. Потом вышла на арийскую сторону, жила у своих друзей на Жолибоже. Но когда во время Варшавского восстания мы прорвались на Жолибож, она не ночевала в своем надежном убежище, а приходила к нам и спала на кровати без матраса, на голых пружинах. Потому что у нас была атмосфера безопасности. Хотя ее друзья, муж и жена Глинские, замечательные люди, прятали ее в своей квартире и она чувствовала себя в безопасности, но душой была с нами – с теми, вместе с кем пережила три или четыре года войны.

Здесь была ее жизнь – и дело было не в любви к мужчине, а в любви к людям, с которыми Тося чувствовала себя связанной. В гетто она была опорой для своих лаборанток. Потом все эти девушки погибли, Тося осталась одна, и ее опорой стали мы.

Она выжила, но из Польши уехала. В 1945 году жила в Лодзи, работала в лаборатории. Но к ней стали приходить какие‑то люди, запугивали ее, она сломалась психологически и уехала в Австралию. Там сделала большую научную карьеру. И усыновила троих еврейских детей с парохода, который Австралия не захотела впустить в свои порты. Люди садились в лодки, проплывали в территориальных водах 12 миль и забирали с этого парохода детей. Тося взяла девочку и двух мальчиков. Вырастила их, все трое получили высшее образование, прекрасно. Девочка стала лаборанткой, один мальчик – специалистом по кораблестроению, профессором в Норвегии, второй – архитектором, строил Шанхай. А Тося разработала метод исследования крови, с помощью которого можно было быстро определить группу крови у любого жителя Австралии. Но потом ей сказали «до свидания», и она осталась на бобах. И вот у нее уже заканчиваются последние деньги, она думает, что теперь будет, а тут приходит чек на 40 тысяч долларов в благодарность за ее работу. Она купила себе домик и жила с того, что сдавала комнаты. Но опять осталась одна.

*– Вы виделись с ней после войны?*

– Да, она приезжала в Польшу. Тося дружила с Генриком Волинским[[74]](#footnote-74). Это благодаря ей мы установили первый контакт с Армией Крайовой, благодаря ей я познакомился с Волинским.

*– А может быть, люди, чувствуя, что жить им осталось несколько недель или месяцев, хотели, по крайней мере, нагуляться вволю? хотя бы выпить водки?*

– Вы оперируете какими‑то абстрактными понятиями. Думаете, когда жизнь в опасности, хочется удариться в разгул? Понятное дело, если выдастся свободный вечер, можно поиграть в карты, чтобы убить время, но ведь угроза чувствуется постоянно. Даже ночью в карты играть опасно, потому что в любую минуту может прийти вахман и перестрелять всех, не спрашивая, зачем они собрались. Или вдруг явится какая‑нибудь боевая группа и заберет деньги, которые лежат на кону. Так что особо не погуляешь.

Да, водку пили, конечно. Одна женщина варила потрясающий фасолевый суп, ешь его и наслаждаешься. В основном‑то ели снетки, хотя бывало и кое‑что получше, из контрабандных продуктов. Но никто не ставил перед собой такой цели – нагуляться вволю.

Когда месяцами стоишь на краю могилы, не до разгула. И не до танцев. А даже если танцуешь или надираешься… мир‑то вокруг все равно особый. По теперешним понятиям тот мир – абстракция. Сегодня пойти в кабак означает совсем не то, что тогда: в кабаке было так же опасно, как в любом другом месте. Над людьми постоянно висела угроза смерти – даже когда играли в карты или пили водку.

*– В гетто была водка?*

– Разве в Польше хоть где‑нибудь водка недоступна? Вы прямо как дети.

*– Снетки – это рыба?*

– …длиной в пару сантиметров. Их продавали на вес, и ели эти вонючие снетки с каким‑то соленым соусом.

*– А тот замечательный фасолевый суп, которым вас иногда кормили в какой‑то столовой?*

– Одна женщина открыла столовую, потому что у нее были связи с каким‑то типом, который промышлял контрабандой, и она варила супы. Тот фасолевый был настоящий, довоенный, густой суп. Не помню, сколько он стоил.

*– Деньги в гетто имели какую‑то реальную стоимость или ценились только товары? Человек, у которого много денег, был в лучшем положении?*

– Тот, у кого были деньги, мог купить продукты получше. Хотя это зависело от ситуации с контрабандой. Бывали периоды, когда контрабанда процветала, а бывали, когда замирала. Но вообще, с деньгами было легче выжить. Деньги никогда не мешали.

Те, у кого денег не было, не могли, например, выйти на арийскую сторону. Ведь там надо было платить за жилье, связи, еду – за все. Это стоило огромных денег. Если кто‑то был связан с организацией, она за него платила. У нас были деньги – хотя бы от эксов[[75]](#footnote-75), и мы платили за жилье наших людей и тому подобное.

У нас была сеть явочных пунктов для встреч с девушками‑связными, которые помогали тем, кто прятался на арийской стороне. Обычно у наших людей не было ни гроша за душой, так что деньги им давала организация.

– Вы лично тогда ненавидели немцев, да?

– Наверное, да. Хотя не помню. Во всяком случае, не любил. Желал им самого худшего.

*– Что же в гетто в первую очередь помогало людям выжить? Ненависть? Или, может быть, наоборот – любовь?*

– Ненависть нельзя съесть. А любовь… Если холодно, рядом с девушкой согреешься.

###### Магдалена Шрода

Мало о ком можно сказать: он всегда был «самим собой». Он не лицедействовал, не старался понравиться, приспособиться, говорить и вести себя так, как принято. Бывал ужасно язвительным, раздражительным.

Мало о ком можно сказать: он был таким аутентичным, каким только может быть человек, которому незачем доказывать миру или самому себе, что он – личность. Он был Личностью.

Помню, как однажды его попросили выступить перед огромной аудиторией, в филармонии, и сказать что‑нибудь про будущее Польши. Его страшно раздражали и место, и тема. «Вы спрашиваете меня, старого еврея, о будущем, а что я могу о нем знать?! Я, кого будущее всегда заставало врасплох… Если бы я в молодости знал, что случится! А я не знал, ничегошеньки не знал, и теперь не знаю. Оставьте меня в покое!» – добавил и… стал рассказывать о прошлом. Это был прекрасный рассказ, из которого можно было сделать вывод, что в жизни надо поступать так, чтобы ничего не стыдиться в будущем. Только это он хотел сказать про будущее.

Мало о ком можно сказать: его жизнь была великим испытанием силы человека и человеческих возможностей. Важную ли роль в такой жизни играли Бог и Декалог? Эдельман, наверно, сказал бы, что один слишком далеко, а другой слишком разрекламирован. Так называемые основополагающие нормы, содержащиеся в Декалоге, существуют в каждой культуре. Декалог имеет значение историческое и символическое, но не практическое. Разве, чтобы быть порядочным человеком, необходимо верить в Бога? Разве в определенных ситуациях справедливость не требует от нас лжесвидетельства? Разве супружеская верность действительно очень важный показатель нравственности? Разве норма «не убивай» всегда обязательна?

Жизнь ставит перед нами столь разнообразные моральные проблемы, что Декалога для их решения недостаточно, а иногда проблемы эти носят такой трагический характер, что мы вынуждены забыть о Декалоге.

«Что здесь делают попы?! Повсюду эти попы», – покрикивал Эдельман на похоронах Лешека Колаковского[[76]](#footnote-76). Сидящая с ним рядом профессор Барбара Скарга[[77]](#footnote-77), в тот день не надевшая слуховой аппарат, спрашивала: «Что ты говоришь, Марек? Что ты говоришь – я не слышу!» – «Я говорю о попах – что они тут делают?!» – еще громче кричал Эдельман. Скарга и Эдельман вместе прощались с Лешеком Колаковским. Попрощаться с Эдельманом Скарга уже не успела. Их нет. Нет.

Магдалена Шрода – профессор Варшавского университета, философ, этик, публицист, феминистка, специализируется в области истории этических идей, политической философии и женской проблематики, была уполномоченным правительства по делам равноправия женщин и мужчин (в правительстве Марека Бельки). Редактор журнала «Пшеглёнд филозофичны», постоянный фельетонист «Газеты выборчей», автор нескольких книг, в том числе «Женщины и власть» (2009).

## *Не кради*

Заповедь указывает, что необходимо уважать имущественные отношения, и это – непреложная норма человеческого общежития. Между тем в сотнях случаев, когда происходит кража, мы прощаем или хотя бы понимаем виновника. Иногда объясняя себе это тем, что категорически запрещать красть – как‑то не по‑людски. Причем порой по соображениям весьма прозаическим: из эгоистического желания избежать лишних хлопот. Однако, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что кража краже рознь…

Январь 1943 года. Всем ясно, что гетто обречено на уничтожение. Несколькими месяцами раньше, в сентябре 1942 года, после большой акции по ликвидации гетто, оттуда отправился последний эшелон в Треблинку[[78]](#footnote-78). В сильно «урезанном» гетто осталось около сорока тысяч человек – пока еще нужных Третьему рейху. В этой ситуации Еврейская боевая организация пытается спасти что только возможно и фактически начинает управлять гетто. Но чтобы действовать, нужны средства, поэтому ЖОБ собирает контрибуцию с самых богатых обитателей гетто. Иначе не удастся обеспечить тех, кто еще там остался, хотя бы минимальными средствами существования. Кто не платит, должен быть сурово наказан. Марек Эдельман не любил об этом говорить, но иногда в его рассказах возникал жуткий образ стоящего на коленях над ванной человека, который сейчас будет расстрелян, поскольку отказался отдать бойцам ЖОБа часть своих денег.

###### \* \* \*

*– «Не кради» важная заповедь?*

– Конечно: красть плохо. Но иногда ты вынужден красть – с голоду, ради ребенка, которого нечем накормить. Ну а если крадешь, чтобы обогатиться, – это совсем другое дело.

*– В гетто ваша организация проводила так называемые эксы – конфискацию имущества у более‑менее богатых соседей. Что могло кое‑кому не нравиться – ведь это своего рода кража. Но может быть, вы чувствовали, что люди вас в этом поддерживают?*

– Эксы вообще были побочным занятием – способом добыть деньги, необходимые для покупки оружия. Это не имело отношения к нашей идеологии. Нам было нужно оружие – вот она, наша идеология.

Для этого требовалась поддержка общества. Кто‑то радуется, что у соседа забрали 10 или 100 тысяч злотых? – ну и пускай. Эксы для нас вообще были делом второстепенным. Поймите: это такая мелочь…

Если мы убили одного отказавшегося платить, то не потому, что именно он попался под руку. Ведь таких, что не хотели платить, было много. А он был хуже других, и были еще причины, по каким он этого заслуживал. Просто непорядочный был человек. Когда он отказался дать деньги, мы пригрозили: не отдашь до четырех часов, убьем. Он не поверил, сказал, что плевать на нас хотел, потому что у него есть связи то ли в еврейской полиции, то ли среди немцев. Ну и мы пришли и его убили. А когда об этом разошлись слухи, больше не было случая, чтобы кто‑то нам отказал. Мы начали управлять этим городом. Нам подчинялись несколько десятков тысяч людей – наше слово было закон, нас слушались беспрекословно.

Коммунисты пытались ставить нам палки в колеса, но мы их приструнили. Они сами устраивали эксы, то есть тоже отнимали деньги на нужды подполья, только отправляли их на арийскую сторону. Ведь Россия этой Польской рабочей партии ничего не давала, буквально ни гроша, вот они и решили добывать деньги в гетто. Ну и мы подстерегли их ночью, когда они возвращались с экса, и все отняли. С тех пор они перестали этим заниматься.

Но в гетто были и эти, в лапсердаках, у которых имелись деньги. Они даже по ночам играли в рулетку. Однажды мы пришли за эксом в нелегальное казино, и кто‑то из наших схватил одного игрока за галстук. А из‑под булавки для галстука как посыплются бриллианты… Мы их горстями сгребали. Вот только не сумели потом хорошо продать…

Конечно, нападение на Польский банк в Варшаве – там забрали миллионы или миллиарды, точно не знаю, – было также и политическим ударом по оккупанту. [В ноябре 1942 года отряд коммунистической Гвардии Людовой[[79]](#footnote-79) напал на центральное отделение Коммунальной сберегательной кассы в Варшаве на улице Траугутта и конфисковал около миллиона злотых. – *Прим. В.Б. и К.Б.* ] Но когда приходят за деньгами к человеку, у которого дома лежат 10 или 100 тысяч злотых, а подпольщики у него забирают 5 тысяч, – это вообще чепуха. Важно, на что пойдут эти деньги: на покупку оружия или на водку. Если не на водку, а на оружие, то общество на твоей стороне и вообще не замечает таких эксов.

*– А если бы на водку – это была бы кража?*

– Да и пропить‑то эти деньги нельзя – ведь в такой акции участвует не один человек.

*– А на что вы жили? Получали какие‑то деньги с Запада?*

– Помощь с Запада… Ее никогда не было достаточно – нам только на покупку оружия требовались миллионы. Револьвер на черном рынке стоил от 20 до 30 тысяч злотых, а ведь нужны еще патроны и так далее. Чтобы купить сто пистолетов с патронами, нужна была масса денег. А с Запада я в гетто один раз получил 5 тысяч долларов. Это были большие деньги, но их не могло хватить.

*– А какой тогда был курс доллара?*

– Не помню… По‑разному бывало, курс сильно колебался. Хотя доллар – это всегда было много. А пять долларов – уже целое состояние. Только не всегда они у тебя были…

*– Золотой доллар, конечно, ценился выше бумажного?*

– Примерно в четыре раза. Кажется, если не ошибаюсь, золотой доллар стоил три шестьдесят. Не помню только, в марках или в польской национальной валюте. Но столько он стоил.

*– Вы рассказывали, что у вас был казначей, который скрупулезно учитывал все поступления и расходы. Как это было возможно в таких условиях?*

– Когда есть порядочные люди, это возможно в любых условиях.

*– Как вести такую бухгалтерию, если…*

– Можно вести. Если человек порядочный – можно. Без вопросов. Да у меня где‑то в ящике лежит эта тетрадь.

*– У вас еще хранится тетрадь с расчетами?*

– Лежит где‑то в ящике. Наш казначей, Леон Файнер, записывал, сколько кому в месяц давали наши связные.

*– Но бывало, что связную хватали с деньгами, и девушке, чтобы ее отпустили, приходилось давать взятку из тех денег, которые она кому‑то несла.*

– Она нам об этом сообщала. Вот и все.

*– И ей верили на слово?*

– Да. А на что она могла эти деньги потратить? Лицо за деньги не переделаешь.

*– У Армии Крайовой имелись для вас деньги?*

– Конечно, ведь помощь с Запада польским евреям была частью помощи польскому подполью. Не знаю, могли ли они устраивать какие‑то махинации, брать себе что‑то из еврейских денег… Наверняка довольно скоро над всем этим установили контроль. Ясно, что они как минимум следили за курсом доллара и иногда эту помощь придерживали, чтобы заработать на бирже, – ведь курс то поднимался, то падал, и нужно было отслеживать эти перемены, чтобы не потерять, а заработать.

*– В Варшаве во время оккупации действовала – разумеется, нелегально – валютная биржа?*

– Да, под колоннадой бывшего здания настоящей биржи около Саксонского сада. Когда нам не хватало денег, это очень тревожило Бартошевского – он распоряжался этой помощью, и деньги были у него. Он жил где‑то в районе Сапежинской.

*– Это ведь рядом с гетто.*

– Да, но по другой стороне. Бартошевский нигде об этом не пишет, но я помню, что именно он непосредственно передавал нам деньги.

*– К кому попадала помощь от польского правительства в Лондоне?*

– Не знаю. К нам большая часть денег приходила из Штатов через Американский еврейский рабочий комитет – через Дубинского, председателя профсоюзов, Хельда, Пата. Всех фамилий не помню… Эти люди создали фонд, в Польшу деньги фонда приходили через Лондон.

*– А само правительство?*

– Кажется, у них в бюджете что‑то было… Не могу сказать, потому что точно не знаю. Какие‑то суммы, вероятно, были – правительство предназначало какую‑то часть бюджета на «Жеготу»[[80]](#footnote-80). Надо спросить у Бартошевского.

*– Мы проверяли – около 30 миллионов злотых, большая по тем временам сумма. А коммунисты тоже вам помогали?*

– Коммунисты сами были лопухи, им самим не на что было жить. Это от нас они иногда получали какие‑то гроши, например, чтобы заплатить за квартиру в Гродзиске. На их деньги нельзя было рассчитывать, но на них самих – можно. Какая разница, коммунисты, не коммунисты – важно, какие люди.

Нам помогали Юзвяк, Ковальская, Матывецкий, другие. Между нами существовала простая человеческая симпатия. Впрочем, что там они могли… Это была немногочисленная слабая группа, их деятельность в подполье практически сводилась к распространению листовок. Ни популярности, ни хорошей организации… Но отдельные люди были симпатичные. Взять хотя бы чудесную Ханку Ковальскую. Мы ее подкармливали, когда ей нечего было есть. Я, Антек…

Яцек Куронь потом смеялся: «Ты один содержал коммунистическую партию!» Неправда, Ханку я кормил, потому что она была голодна. И она нам помогала. Не физически, конечно, это ей было не под силу, но если ты лежишь избитый, а кто‑то говорит тебе, как тебя любит, это приятно. От аковцев мы такого не слышали. Понимаете? Конечно, не принимайте мои слова буквально.

*– А Гомулка* [[81]](#footnote-81) *какой был? Что о нем тогда говорили?*

– То же самое.

*– Но если в гетто кто‑то занимался грабежом, пускай даже с голоду, ведь часто он обкрадывал того, кто тоже голодал.*

– Не всегда. Вот, например, хапер[[82]](#footnote-82) – мальчишка, который стоял возле базара и, когда ты покупал четвертушку буханки, наскакивал на тебя, выхватывал хлеб и сразу вгрызался, ел. Иногда у тебя в пакете было мыло, но он‑то этого не знал, а иногда что‑то, купленное на последние деньги, но даже если и нет, то что? Как можно его осуждать? Это что, кража? Конечно, буханка хлеба тогда стоила 72 злотых, я зарабатывал 52 злотых, а он схватил – и с концами. Да, конечно, это кража – ну и что? Перестаньте говорить такие вещи. Во время войны мораль особая – мораль голода, это вам не нормальные условия, когда мамочка отводит тебя в детский сад, кормит манной кашкой, правильно воспитывает и так далее. Это вообще нельзя сравнивать. И что, по‑вашему, делать с таким хапером? Он вор, значит, в тюрьму его, да? Ну, скажите.

*– Конечно, если кто‑то крадет, потому что голоден, это не кража. Но ведь хапер обкрадывал человека такого же голодного, купившего этот хлеб на последние гроши.*

– Опять вы занимаетесь буквоедством. Я не такой моралист, чтобы об этом судить. Каждый человек, как может, старается выжить, но не каждый считает, что должен иметь сто или двести миллиардов… Их же с собой в могилу не унести, верно?

Да, у кого‑то имеются большие деньги, и что с того? Пусть живет и радуется! Мне столько не нужно, мне хватает того, что у меня есть. Хватает на то, чтобы дать девушке 200 злотых – пускай купит себе модные сапожки. Хотя не знаю, зачем они ей, если у нее и без того красивые ноги.

###### Леопольд Унгер

В похоронной процессии все идут вместе, но каждый несет свою скорбь.

У всех у нас общий Декалог, но у каждого есть свой. И у Эдельмана тоже. Возможно, такой…

1. Да не будет у тебя других богов, кроме меня. Твой Бог воплощен в Хартии прав человека, в убежденности в том, что каждая личность имеет право на свободу, что другие должны признавать ее ценность, уважать достоинство и автономность.

2. Не произноси имени Бога твоего напрасно, а только дабы провозгласить, что все люди – братья, что они рождаются свободными, равно достойными и обладающими равными правами; защищай права на свободу каждого человека в самом широком смысле, при условии, что не будут ущемлены права других.

3. Помни день субботний, чтобы святить его, но не думай исключительно о своей корысти и не забывай, что у каждого человека есть все права и свободы независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, вероисповедания, политических и иных взглядов, национальности, общественного и имущественного положения, происхождения и т. п.

4. Все, что ты делаешь, делай исключительно ради того, чтобы обеспечить признание и уважение прав и свобод других. Учитывай вероятные последствия твоих поступков для окружающих. Будь по мере возможности объективен, но никогда не оставайся нейтрален.

5. Почитай отца своего и мать свою. Чужих тоже.

6. Не убивай, разве что защищаясь, в борьбе против тирании и гнета и только тогда, когда насилие – единственный выход и нет альтернативы. Человеческая жизнь – святое.

7. Не кради, разве что перед лицом смерти от голода.

8. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Каждый человек имеет право на свободу мнений и свободу их выражения, на распространение информации и воззрений разными способами, но не доноси, не лги, не сплетничай и не очерняй.

9. Не желай ничего, что есть у ближнего твоего. Напротив, будь с ним солидарен и лоялен, когда его ближним и его имуществу грозит опасность.

10. Каждый человек имеет право покинуть любую страну, включая свою собственную, и имеет право вернуться к себе на родину. Покинуть и вернуться, даже если речь идет об Израиле.

Леопольд Унгер – журналист, эссеист, один из самых выдающихся современных политических комментаторов. Родился в 1922 году во Львове. После войны был сотрудником газеты «Жице Варшавы». В 1969 году в связи с чистками в ходе антисемитской кампании был вынужден эмигрировать; поселился в Брюсселе, где стал звездой газеты «Суар», много лет сотрудничал с парижским журналом «Культура» и радио «Свободная Европа», а также газетой «Интернэшнл геральд трибюн». В настоящее время публикует статьи в «Газете выборчей»[[83]](#footnote-83).

## *Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего*

Любопытно: в Декалоге нет запрета на ложь и обман как таковые. Почему там говорится только о лжесвидетельстве по отношению к другим людям? А ложь сама по себе, так сказать, в чистом виде? А использование лжи во благо, с добрыми намерениями, – взять, например, слова утешения, адресованные тяжелобольному (что зачастую оправданно, поскольку это придает больному силы и в результате может привести к выздоровлению). Однако мы знаем: в повседневной жизни все, что основано на лжи, нестойко и ничего прочного не сотворит; мало того, ложь разрушает свободу человека. Иногда косвенно, а иногда напрямую. Виртуозами лжи были нацисты, до последней минуты обманывавшие своих жертв, убеждая их, что ничего плохого с ними не случится. Что они идут мыться, что если они добровольно погрузятся в эшелон, то получат хлеб, и это доказательство того, что им ничего не грозит: значит, они нужны рейху. Но разве тем, кого так обманывали, трудно было понять, что это ложь?

А может быть, в желании поверить этой лжи был какой‑то особый смысл?

###### \* \* \*

*– Вы подчеркиваете, что люди в гетто долго не хотели верить в то, что обречены на уничтожение, хотя их близкие, которых загоняли на Умшлагплац, заталкивали в вагоны и увозили, впоследствии не подавали никаких признаков жизни. Вы вспоминаете грузчиков, крепких мужиков, сильных, здоровых, которые без сопротивления пошли на Умшлагплац, так как были уверены, что немцам невыгодно их убивать, поскольку они способны работать. Разве это не доказывает, что люди порой предпочитают быть обманутыми?*

– Неправда, неправда, ничего вы не понимаете. Сегодня вам известно, что такое Треблинка. А представьте себе, что вы – дай вам Бог здоровья – более‑менее сыты и работоспособны. Так зачем немцам вас убивать, раз вы можете рыть для них окопы – здесь или на Украине, да где угодно? В голове не укладывается, что таких здоровяков, как вы, можно взять и застрелить: ведь вы – дармовая рабочая сила. А еще можно меньше вас кормить, потому что вы пока еще толстые.

Вы сейчас оперируете понятиями из совершенно другого мира.

*– Когда вы поверили, что уничтожение неизбежно?*

– Я уже тысячу раз говорил: сначала до гетто добрались трое беглецов из Хелмно[[84]](#footnote-84), одного из них мы знали и понимали, что он не врет. Его рассказ мы поместили в нашей подпольной прессе, но почти никто в это не поверил. Даже те, кто поверил, твердили, что такое могло случиться в маленьком местечке, но невообразимо в полумиллионной Варшаве. Это в голове не укладывалось.

И вы сейчас тоже ничего не понимаете.

*– Уже во время восстания вы говорили своим людям, что на другой стороне для них приготовлены квартиры, где можно спрятаться.*

– Кончайте мне внушать, будто я то говорил, это… Никогда я так не говорил.

*– Но когда они спрашивали, вы все же давали понять, что так оно и есть…*

– Что квартиры приготовлены? Ничего не было приготовлено.

*– Но люди верили, что у организации есть такие квартиры.*

– К организации относились с огромным уважением, потому и думали, что она может всё, даже свергнуть Гитлера. Те, у кого имелись патроны для пистолетов, были убеждены, что им принадлежит весь мир.

Нельзя отнимать у человека надежду. Я не говорил, что есть такие квартиры. Выкручивался… Как я выкручивался… Те, кто поумнее, понимали, что это конец, что спастись невозможно.

*– А если ты врач, тоже нельзя отнимать надежду?*

– Почему надо лишать человека надежды, что он еще увидит внучку, увидит солнце? Если он тут лежит, если он уже умирает, значит, плевать на него, пошел вон, да? Никому не хочется умирать.

*– Сейчас говорят, что пациент имеет право знать абсолютно все о состоянии своего здоровья.*

– Не надо слушать, что говорят. Лучше спросить у пациента, который лежит в реанимации, хочет ли он знать, что через час умрет. Я видел таких. Им хочется знать, что через час они будут живы, что внучка еще раз придет и напоит из ложечки чаем. Глупости вы говорите, вот что.

*– Гайке Куронь* [[85]](#footnote-85)*, когда она из лагеря для интернированных* [[86]](#footnote-86) *попала к вам в отделение, вы не сказали, что она смертельно больна. И Яцеку, который тогда сидел в тюрьме, тоже не написали всей правды.*

– Потому что тогда власти сделали ему предложение: если он прекратит свою деятельность в оппозиции, то ему предоставят возможность уехать за границу и лечить там Гайку. Он об этом написал Гайке. Она ответила, что не согласна никуда ехать, что ей тут хорошо.

Я написал ему о состоянии Гайки, но ведь каждый, читая одно и то же письмо, видит то, что хочет увидеть. Яцек прочитал, что все в порядке, что она поправится, а там было написано – очень деликатно, – что положение безнадежно. Не знаю, сохранил ли он это письмо, но все другие письма сохранились.

Яцек жил в своем мире – он вообще не верил, что Гражина больна.

*– Но Гайка жила так, будто с ней все в порядке. Вы не лишали ее надежды: перевезли из больницы к себе домой, велели сшить ей красивое платье, вкусно кормили, а в морозильнике у вас лежал большой кусок телятины «от бабы», который вы собирались запечь, когда Яцек наконец выйдет из тюрьмы.*

– Не платье, а юбку, даже две. Инка прислала отрез из Парижа. Помню, шел проливной дождь, когда мы с Гайкой поехали к портнихе снять мерки. А почему она не должна была жить нормально? Жила себе и жила – никто не знает, в какой день умрет. Пока человек жив, надо, чтобы ему жилось по возможности хорошо. Психологически тоже.

*– Что вы сейчас думаете о Хаиме Румковском* [[87]](#footnote-87) *и о политике, которую он проводил как глава лодзинского гетто?*

– Не спрашивайте меня про Лодзь. Я против таких людей. Дискуссия о нем ведется в ужасном стиле. Кто‑то с полным основанием сказал, что в процентном отношении больше всего евреев спаслось в Лодзи. Я не хочу в это влезать. Румковский был бандит. Он призывал родителей: отдайте своих детей на смерть, тогда вы останетесь живы, – а потом собственными руками хватал эти десять тысяч или сколько‑то там детей и отправлял на смерть; такой человек для меня не существует. Пан Мостович, который выжил в гетто, поскольку был врачом «скорой помощи», считает, что Румковский поступал рационально, – и пускай так считает, пускай любит Румковского, потому что сам выжил. Но то, что делал Румковский, – нравственный бандитизм.

Когда в Варшаве Чернякову, занимавшему такой же пост, как Румковский, приказали выдать десять тысяч человек, он покончил с собой. Хотя одновременно был настолько слаб, что не призвал людей к борьбе. А если бы тогда призвал, даю слово: эта первая акция по уничтожению гетто не прошла бы так гладко.

Но не будем об этом говорить – прошлого не воротишь. Надеюсь, больше это не повторится. Перестаньте спрашивать меня о неморальных вещах. Спросите Ханну Арендт – это она говорит о банальности зла. Она тоже ангел, но о Хайдеггере, который сотрудничал с гитлеровцами, дурного слова не сказала.

*– Мы вас спрашиваем, в частности, потому, что Румковский – пример того, как долго можно было сохранять иллюзии и верить в немецкую ложь. Говорят, Румковского увезли в концлагерь в салон‑вагоне. Его обманывали до самого конца.*

– Какая разница? Немцы постоянно врали. Какое это имеет значение? Румковского убили, потому что они и его презирали. Хоть он перед ними и выслуживался, но все равно был для них унтерменш[[88]](#footnote-88). Притом такой унтерменш, который посылает собственных детей на смерть. Он заслужил смертный приговор, но не от немцев, а от своих сограждан.

*– В Варшавском гетто кто‑нибудь верил немцам, когда они говорили, что тех, кто придет на Умшгал‑плац, повезут на работы? И еще хлеб давали…*

– Они все время врали, только применяли разные уловки… Но неужели вы спрашиваете всерьез? Все, кто страшно голодал, едва услышав, что получат три кило или кило хлеба и немного мармелада, пошли. Хотели спастись.

*– А когда эти грузчики, сильные мужики, во время большой акции по уничтожению шли в вагоны, они вправду верили, что будут нужны и переживут войну?*

– Поставьте себя в их положение. Вы от меня требуете, чтобы я рассказывал всякие глупости, а сами ничегошеньки не понимаете. Поставьте себя на место голодного человека, вдумайтесь. Вы толстый, я понимаю, в зельце у вас нет недостатка. А если три дня не поедите этого зельца… О чем тут спрашивать? Столкнулись два мира. Профессиональный журналист неспособен сам ничего сформулировать, только спрашивает: а этот что думал, а тот что думал? Сам сообрази, что он думал.

*– Но вы‑то не позволили себя обмануть. Вы за этим хлебом не пошли.*

– Не пошел. И точка. Закончили. Если у тебя не хватает ума понять, почему человек, у которого пять‑шесть дней не было ни крошки во рту, за три кило хлеба готов пойти куда угодно, то с тобой не о чем разговаривать. Вы правда живете в каком‑то другом мире, не там, где я.

*– Это и был другой мир.*

– Для вас, потому что вы сыты, обожрались… и потому что вы журналисты. Что человек думал, когда позволял над собой насильничать? Что думал, когда был голоден? Думал, что выживет? Вы идиоты… Я говорю совершенно серьезно: меня это выводит из себя. Даже если вы чего‑то не знали, но, хотя я вам про это талдычу уже третий день, все еще ничего не поняли, то вы просто недоразвитые!

*– Вы нас тоже выводите из себя…*

– Вот это да! Неслыханно!.. И они еще меня спрашивают, верили ли эти грузчики, что выживут, если получат три кило хлеба или кило мармелада! Нет, я не могу с ними разговаривать. Они из другого мира, с луны, что ли, свалились. Ведь здесь в каждой семье кого‑то убили, а они даже не чувствуют, какой это был ужас… Никудышные журналисты, кошмарные люди, безмозглые. Нельзя задавать такие вопросы. Ну как с вами говорить, если вы не понимаете, что такое голод? Он не понимает, потому что у него всегда было вдоволь жратвы, потому что мамочка насильно впихивала в него манную кашку.

*– Вы сами говорили: жаль, что они пошли на Умшлагплац.*

– Я не говорил: «жаль, что пошли». Ни разу не сказал. Я только констатирую факты. И никогда их не оценивал. Это вы оцениваете. Не загораживайтесь мной, раз сами ничего не понимаете.

*– Если бы эти грузчики, сильные люди, присоединились к вам во время восстания, вы бы дольше боролись и, возможно, больше народу бы спаслось.*

– Никогда я этого не говорил. Мы не нуждались в сильных людях. Зачем они нам были? Мы знали, что останемся в проигрыше. Вам кажется, если бы с нами были такие здоровенные, ловкие мужики, то все бы пошло по‑другому. В лучшем случае продержались бы на день‑два дольше… Разве это имеет значение?

Они пошли на смерть с голоду. Никто не мог их разубедить, потому что… Вы не знаете, что такое голод… Когда здоровенному мужику нечего есть, то, если его накормят, у него, ясное дело, появляется надежда. Он рассуждает логически: если дают еду, значит – я нужен, значит – меня отправляют на работу, а не на смерть, – если б на смерть, не кормили бы. Я это повторяю не первый раз, а вы заладили одно: если бы они не пошли на Умшлагплац, то могли бы участвовать в восстании и, возможно, оно бы продлилось два лишних дня, потому что они были сильные. Но мышцы – совсем не то, что психика. Не были они такими сильными, чтобы без оружия, без ничего, продержаться двадцать дней. И человек, которого с детства кормили мармеладками и манной кашкой, не в состоянии понять голодного. Не может войти в его положение. Всё, хватит.

Я ужасно нервничаю, потому что диву даюсь: разговариваем столько дней, а вы этого не понимаете.

*– Но дети, которые когда‑то к вам приходили, задавали те же самые вопросы.*

– Они задавали толковые вопросы. Не говорили, что эти люди за три кило хлеба пошли на смерть, потому что их обманули. Дети не говорили того, что говорите вы.

*– Но они спрашивали про страх в гетто: боялись ли эти здоровенные мужики?*

– То есть какова была сила страха? Конечно, они спрашивали, что значит бояться за свою жизнь, – но это не имеет ничего общего с тем, о чем спрашиваете вы.

В боевую группу гетто входило двести двадцать человек. Да, увеличить ее не было никаких возможностей. Но я не говорю, что кто‑то из этих людей был не на высоте.

Это вы так считаете, вы готовы осудить этих грузчиков: мол, пошли есть, вместо того чтобы драться. Полагаете, что, если б они пошли драться, восстание продолжалось бы дольше. Но разве это важно? Разве для мира это имеет какое‑то значение? Посмотрите: за стеной все время крутилась карусель.

*– Упаси Бог, мы их ни в чем не обвиняем. Мы понимаем, что не имеем на это права. Но если говорить об истории… Обычно рассматривают разные варианты: что было бы, если бы… когда, например, заходит речь о Варшавском восстании, тоже возникает вопрос: не надо ли было капитулировать раньше.*

– Неправда. Никогда не обсуждалось, должен ли был Бур сдаться раньше. Районы сдавались поочередно, потому что не могли дольше сопротивляться, и, когда остался последний район, Бур решил капитулировать. В Варшавском восстании не было такой проблемы, потому что командование правильно оценивало его политическое значение. Задача была: продержаться столько, сколько возможно. Когда пало Старе Място, стало понятно, что Варшава падет. Но и тогда еще не думали о капитуляции. Нет, командование перебралось в центр, и борьба продолжалась. Генерал Бур‑Коморовский капитулировал, когда проигрыш был налицо и дальше могла последовать только бойня.

Вы должны это понять. А вам кажется, что если бы я сказал этим мужикам с Крохмальной: идите драться, – но хлеба для них у меня не нашлось, то они бы пошли.

*– Именно об этом мы и спрашиваем.*

– Голод – страшная штука. Без хлеба не пошли бы. А я не мог их позвать, потому что не мог им дать ни краюшки хлеба, ни килограмма мармелада.

Это же логично: если тебя кормят, ты никого убивать не станешь. Немцы, когда вывозили евреев, придумали хитрый камуфляж. У них был план: люди не должны догадываться, что их отправляют на смерть. Для этого в газовых камерах устанавливали муляжи душей, а в Западной Европе в поездах, идущих в Биркенау[[89]](#footnote-89), были салон‑вагоны.

Впрочем, среди этих мужиков нашлись и такие, что потом устроили в Треблинке восстание. Мы их к этому подтолкнули: показали, что силе можно противостоять даже с пустыми руками, что силе страшны даже пара десятков парней и девушек.

Да, в Треблинке из нескольких сотен убежавших из лагеря остались в живых меньше сотни. Но, заметьте, большинство из них, по крайней мере те, кого я знал, психически надломились. И такими остались до конца жизни. Не буду называть фамилии. Следующие тридцать лет они только и делали, что пили водку. Знаю, у них были жены, дети, они зарабатывали на жизнь, но ничего больше не делали. И рано умирали – в пятьдесят‑шестьдесят лет.

Конечно, можно сказать, что они ничего не совершили, всего‑навсего убежали. Но даже чтобы убежать, нужны силы. Чтобы принять решение: я убегу! – нужно иметь сильный характер. Обратите внимание, сколько людей погибли только потому, что не решились бежать.

Когда Антека в Кракове ранили, он тоже проявил немалую силу воли: всех остальных схватили, а он рискнул убежать. Раненый, на двадцатиградусном морозе, сидел где‑то на лестнице. К счастью, какая‑то дворничиха над ним сжалилась и приютила у себя на пару часов. Чтобы бежать, нужно найти в себе силы.

*– Но немцы ведь не случайно давали этот хлеб.*

– Конечно: давали, чтобы люди шли спокойно.

*– Это называется ложь. Они не сказали: вы идете на смерть.*

– Вы что, сдурели? По‑вашему, надо было сказать людям, что их отправляют на смерть? Немцы такого не говорили, но они и смертных приговоров беременным не выносили, а больных, приговоренных к смерти, лечили. В условиях Второй мировой войны, когда целью фашистов было истребление части человечества, это кажется абсурдом.

Мне не понятен ваш ход мыслей. Вы из другого мира, и я не в состоянии залезть к вам в душу.

Страшно, когда человеку целую неделю нечего есть. Мне лично повезло: я не ощущал голода. Удивительное дело: я долго изо дня в день выходил на арийскую сторону, а там одна женщина всегда приберегала для меня граммов сто – двести хлеба и, например, соленый огурчик, оставшийся с обеда. Но я не был голоден и этот хлеб кому‑нибудь относил. У меня, к счастью, под ложечкой не сосало.

*– Это только подтверждает ваш тезис о том, что, кроме характера, на принятие того или иного решения влияет и случай, и физиология. Вот у вас под ложечкой не сосало…*

– Да. Не знаю, что бы со мной было, если б я страдал от голода так же, как они. Не знаю. Хотя, конечно, характер тоже много значит.

*– Вот это мы бы и хотели, в частности, узнать: что важно в таких ситуациях, что побуждало ваших людей поступать так, а не иначе бундовское воспитание или внешние обстоятельства?*

– В Бунде молодых людей были сотни, а в ЖОБ вступили десятки. Так что нельзя обобщать. Например, перед войной я руководил группой из тридцати или сорока детей из Аннополя[[90]](#footnote-90), но потом ни одного из них не встречал. После сентября 1939‑го они будто перестали существовать – не только как группа, но и как отдельные люди. Я допускаю, что в бараках в Аннополе их добил голод. У них и раньше ничего не было, а уж потом… Короче, я ни одной живой души из этой группы не видел, а ведь все время был в Варшаве и по Праге ходил свободно.

Чтобы понять, что такое голод, вовсе не нужно самому быть голодным. Вы спрашиваете про ложь и тому подобное. Это всё общие слова. Если вы не прочувствуете ситуацию, то никогда этого не поймете. Я не думаю о вас плохо, но видите ли… вы подходите по‑журналистски – вам нужно знать где был, был ли, как был…

Так нельзя. Меня впервые расспрашивают такие классные журналисты. Но я не в состоянии ничего сказать по поводу этих ваших дилемм – для меня они никакие не дилеммы.

Странно: получается, что я за все эти дни не сумел описать тогдашнего настроения. Видно, нет у меня к этому таланта. Вы понимаете, что я хочу сказать?

*– Понимаем.*

– Я пытаюсь вам объяснить, что такое, например, голод и какой он обладает силой, но не могу до вас достучаться. Ужасно жалко. Мы столько дней разговариваем, и я был уверен, что в какой‑то момент у нас с вами установился контакт. А он мне тут задает вопрос, продолжалось ли бы восстание дольше, если бы эти грузчики к нему присоединились, ведь они были сильные… В гетто главным была не физическая сила. Неужели вы не понимаете, что чем слабее человек, тем он сильнее?

*– После Варшавского восстания вы до конца войны прятались на улице 3 мая в Гродзиск‑Мазовецком. И в январе 1945 года увидели на тамошней рыночной площади русский патруль. Он состоял из девушек верхом на лошадях…*

– А какие они были красивые на этих лошадях! Сидели боком, как амазонки. В таких меховых шапочках… Чудесно выглядели. Двадцать четыре девушки, кажется, радистки, связистки. Гродзиск уже был занят. Весь рынок им аплодировал.

*– Люди радовались?*

– Да‑а‑а‑а… Ведь немец их убивал, отнимал у них все, и наконец‑то они от него избавились. Можно было свободно вздохнуть: теперь уже в тебя не будут стрелять. А эти русские девушки наверняка не стреляли – они были такие красивые, аж дух захватывало. Все радовались, а народу было полно, на улицу выходили целыми семьями: матери, дети. Смеркалось, я стоял у стены, Целина чуть подальше. Не помню, был ли с нами Антек… Может, и был, только стоял где‑то в стороне. Я говорю Целине: посмотри вокруг. А у нас что есть? Никого у нас нет, дома нет.

Грустно нам было. Но на следующее утро мы пошли в Варшаву. Было 20 градусов мороза. Поезда из Гродзиска в Варшаву пустили только спустя несколько дней, так что мы 30 километров топали пешком. В Пясечно переночевали у одной женщины; она потом умерла – когда эксгумировали ее мужа, который погиб на Жолибоже. Ему снарядом оторвало ногу. Полностью оторвало, он с минуту истекал кровью и умер. Его похоронили на Жолибоже. Я хотел сам вырыть ему могилу, в девять локтей, потому что он был евреем. Но нашелся могильщик по фамилии Зимный, до войны он работал на разных кладбищах, в том числе на еврейском. И он сказал, что сам выроет – тоже в девять локтей. Весной 1945‑го проводили эксгумацию, пришли несколько человек и, конечно, эта женщина из Пясечно. Оказалось, что у мужа в каблуках были тайники. Там он спрятал 20 или 40 золотых долларов, ну и каблуки оторвали, чтобы достать деньги. Вдова сидела в комнате рядом, а когда ей принесли эти доллары, ее уже не было в живых. Оба лежат на еврейском кладбище.

*– Значит, 1945 год принес освобождение, а не новую оккупацию?*

– Конечно, освобождение! Ведь немцы убивали ни за что. Потому что им так нравилось. А теперь ты мог выйти на улицу, не боясь, что тебя убьют. Не было уже такого, чтобы какая‑нибудь женщина или мужчина показали на тебя: «Это еврей!» Или стайка ребятишек бежала бы за тобой вдогонку и кричала: «Еврей, еврей!» – тоже указывая на тебя немцам.

Русские не ходили по улицам с пистолетом, чтобы убивать людей только потому, что они евреи. Конечно, если поймают немца в мундире, то часто его не в плен брали, а убивали. Хотя в принципе разница была небольшая: в плену множество немцев поумирали. Когда канцлер Аденауэр приехал в Москву, чтобы заключить договор с Хрущевым, он спросил: «Где эти два миллиона немцев?» Глава советских коммунистов жестом показал, что в земле[[91]](#footnote-91). Страшный был плен. Русские никого не выпускали. Немцы, например, добивались освобождения из лагеря того офицера, который в Варшаве спас Шпильмана[[92]](#footnote-92), однако ничего у них не вышло.

*– А вы знали, что такое коммунизм?*

– Знал. Но коммунизм убивал всех без разбора – русских, поляков, евреев. Верно? А нацизм действовал избирательно – целился в меня. Никому не нравится быть на мушке. Для меня лично это было освобождение. Я мог не боясь ходить по улицам.

Разумеется, я не говорю о разном другом, что тогда началось, – например, когда какие‑то, якобы борющиеся за независимость, организации выволакивали евреев из поездов и убивали. Так тоже было. Был такой Огонь[[93]](#footnote-93): сейчас ему поставили памятник, улицы называют его именем, но давайте скажем прямо: он был самый настоящий бандюга.

*– Что вы говорите тем, кто утверждает, что Огонь или Национальные вооруженные силы* [[94]](#footnote-94) *боролись за Польшу?*

– Ничего не говорю. Зачем разговаривать с людьми, которые понятия не имеют о том, что творилось? Пусть поедут в Маков, пусть поедут на Подгалье, пусть спросят, кто такой был Огонь. Он мучил все местное население, не только евреев. Пусть узнают, как он конфисковывал имущество, как… Ну ладно, хватит.

*– Но в коммунистическую партию вас не тянуло.*

– Ясное дело, я ведь знал, что это за бандиты.

Но русские тоже страшно натерпелись от немцев, оттого у них и родилась ненависть. Я не удивляюсь: когда немцы приходили в деревню, они половину жителей вырезали, а у остальных забирали еду и так далее. Никто не забыл, что и в Польше в 1939‑м без всякой причины сжигали целые деревни. Польские крестьяне тоже ненавидели немцев, которые отбирали у них весь скот, облагали поборами…

Так что тогда немцев все ненавидели.

Я знаю, что при русских было плохо: террор, колхозы и всякие свинства. Но они хотя бы не говорили, что ты унтерменш, считали тебя человеком. Тут самоощущение уже совсем другое. А еды нет, объясняли нам, потому что везде нищета и голод.

Неправда, что в 1945 или 1946 году народ считал, будто русские принесли неволю. Возможно, так считали политики – Окулицкий[[95]](#footnote-95), ППС[[96]](#footnote-96). Но население, простые люди радовались, потому что наконец‑то могли свободно вздохнуть и снова начать более‑менее нормально жить. Я знаю, что рядом всегда было отделение УБ[[97]](#footnote-97), но вначале даже это УБ было смехотворное. Когда взяли Бернарда Гольдштайна[[98]](#footnote-98) – он был социал‑демократ, то есть по их представлениям фашист, – то его заперли в комнате на ключ: у них еще не было тюрьмы. Поставили охранника, но через час тому стало скучно, он открывает дверь и видит Гольдштайна, с которым они до войны дружили – были в одной боевой группе. Удивившись, спрашивает: «Бернард, ты что здесь делаешь?» – «Как что? – сижу в тюрьме», – отвечает Гольдштайн. Ну и этот охранник тут же его выпустил, ни у кого не спросив разрешения. И назавтра Бернард встретился с Зигмунтом Зарембой[[99]](#footnote-99) в какой‑то пивной, и они вместе уехали на Запад.

Вначале была страшная неразбериха.

Еще одна похожая история: в Колюшках схватили моих ребят, Мачека и Влодека. В паровозном депо под какими‑то железными балками было спрятано оружие. Они его вытащили, но милиция их арестовала. В Колюшках никакого участка не было, и их посадили в сортир. Перед сортиром стоял милиционер, но задняя стенка была дощатая, они ее вышибли и пошли себе.

Так было, но бывало и иначе – бывало, что стреляли. Кому как повезет…

*– В вашем доме в Лодзи после войны прятался кто‑то из тихо‑темных, да?* [[100]](#footnote-100)

– Да, он жил напротив и обучал ребят из постаковского подполья. Учил их разным приемам, тому, сему. А когда за ним пришли гэбисты, он сделал сальто с третьего этажа и сумел спрятаться в несжатом поле, хотя их была целая куча, они стреляли и так далее. На следующий день он вернулся победителем. Но радиостанцию у него унесли.

*– От послевоенных лодзинских времен сохранилась фотография, на которой вы, с очень серьезным выражением лица, стоите на фоне знамен. Судя по подписи, это 1945 год, чьи‑то похороны.*

– Хоронили парня, которому было лет двадцать пять или двадцать шесть. Он сидел в России в лагере, оттуда попал в армию Берлинга[[101]](#footnote-101) и там остался, был техническим редактором в газете «Жолнеж вольности» или кем‑то в этом роде. Дослужился до подпоручика – кажется, до войны он служил в армии. Когда берлинговцы дошли до Лодзи, часть сотрудников редакции, по‑видимому, сократили и его оставили здесь. Назначили военным директором швейной фабрики, потому что по профессии он, кажется, был портной. Фабрика была еще довоенная, во время оккупации немцы шили там обмундирование для своей армии, а в новой Польше стали шить мундиры для польской армии.

Он жил на улице Мельчарского, получил комнату в большой квартире – тогда еще были коммунальные квартиры. Я его знал еще до войны, но не очень хорошо, он был старше меня. Однажды мы договорились с ним встретиться, после того как он вернется с работы. Я прихожу, дверь в квартиру открыта, что уже показалось странным – ее, правда, не всегда запирали на ключ, но требовалось повернуть ручку, звонка не было. И вообще, обычно в квартире кто‑нибудь был. Я вошел. Смотрю: пусто, и в его комнате никого нет. Слышу, в ванной из крана течет вода, открываю дверь – а там Фиска (это его фамилия), лежит, перевесившись через край ванны, и кругом все залито кровью. Видно, пришел с работы, мыл руки, и тут его застрелили.

*– Почему?*

– Трудно сказать. Тогда считалось, что его застрелили энвээсовцы, потому что он был директором фабрики, где шили обмундирование. Но никакого следствия по этому делу не было.

*– А почему? Потому что в госбезопасности иногда служили и члены НВС?*

– Не исключено. Но тогда вообще убивали многих, в особенности евреев, и по каждому факту убийства дела не возбуждали – это было, как говорится, распространенное явление.

Но в том, что Фиску убили по политическим или националистическим мотивам, никто не сомневался. А какие именно силы, разобраться было трудно: это могли быть и аковцы, среди которых были тихо‑темные, и энвээсовцы. Да и вообще многие были настроены против евреев. И не только из боязни, что если те, кто каким‑то чудом уцелел, вернутся, то они потребуют обратно свои квартиры, куда тем временем кто‑то вселился. Где‑то в подсознании у людей еще сохранилась довоенная неприязнь к евреям, возросшая благодаря немцам. Конечно, эти настроения подавлялись, никто вслух не кричал «Бей жидов!», – но атмосфера была такая.

*– Способствовала ли эта антисемитская атмосфера успеху сионистов, которые тогда начали организовывать отъезд евреев из Польши?*

– Евреи и без того уехали бы – они убегали не из Польши, а от России. В Польше, думали, будет свобода. А свободы не было.

Евреи возвращались из Сибири с одной мечтой: чтобы от России их отделял океан. Это было общее желание. Ведь они прошли через ГУЛАГ и рассматривали Польшу как переходный этап. Задерживались здесь на неделю, на один‑два месяца; те, у кого не было денег, работали, а потом нелегально переходили границу.

Вдобавок польские власти заключили с палестинскими евреями негласный уговор: они будут закрывать глаза на выезд евреев из Польши, если за каждого уехавшего получат некую сумму в злотых или долларах – этакий «подушный» налог. Уезжали обычно группами, через Чехословакию, а оттуда – в Австрию, в Палестину, в Америку, кто куда захочет. Мир уже был для них открыт.

Так продолжалось примерно до конца 1946 года. Потом, когда ППР[[102]](#footnote-102) объединилась с коммунистической фракцией ППС и началось закручивание гаек, это закончилось. Ушел последний из эшелонов – формально нелегальных, но фактически разрешенных. Потом можно было уехать уже только нелегально, через «зеленую границу»[[103]](#footnote-103).

*– А вы с Антеком тогда говорили об отъезде в Израиль? Какие у него были соображения?*

– Мы с ним это не обсуждали.

*– Как относилась к погромам польская элита – интеллигенция, Церковь?*

– После келецкого погрома епископы не осудили погромщиков.

Ходили слухи, будто кто‑то спросил тогда у Вышинского[[104]](#footnote-104), будущего кардинала, правда ли евреи используют кровь христианских детей для мацы. И Вышинский сказал, что компетентно ответить не может, поскольку процесс Бейлиса – киевского еврея, которого в царской России в 1912 году судили за ритуальное убийство, – не был закончен. А ведь Бейлиса оправдали, и для общественного мнения всего мира было очевидно: обвинительный приговор стал бы оправданием государственного антисемитизма в России.

Действительно ли Вышинский так сказал? Не знаю. Но ходили слухи, что именно так. И этого оказалось достаточным: подобные повсеместно кружащие слухи легко посчитать фактом. Тем более что их никто не опровергал. Отсюда соответствующие последствия. Понимаете? Так что не спрашивайте меня, в какой конкретно день и в котором часу Вышинский или кто‑то другой что‑то сказал. Я повторяю то, о чем все тогда говорили. Именно это имело значение.

Погром в Кельце возник не на пустом месте. Конечно, ясней ясного, что это была провокация: мальчик вроде бы пошел к своему дяде и не вернулся, и тогда поползла весть, будто евреи украли его на мацу, в подвале выпустили из него кровь… какой‑то бред. Но ведь я, когда на следующий день ехал в санитарном поезде в Кельце, своими глазами видел: на каждой станции лежали убитые евреи. Историки подсчитали, что в так называемой вагонной акции погибло несколько сот человек. Но ведь чтобы убить двоих или троих, надо остановить поезд и распознать их в толпе пассажиров – только тогда можно будет их застрелить. Такие нападения происходили повсюду, евреи боялись ездить в поездах.

А тот убитый портной‑директор до войны состоял в организации, а еще, кажется, работал в профсоюзах, потому и похороны ему устроили демонстративные.

*– Как по отношению к вам вели себя гэбисты? Никто не признался, что ему неловко преследовать руководителя восстания в гетто?*

– Нет. Был один, который за мной постоянно следил. Соседка даже, когда было жарко, выносила ему стульчик, чтоб не стоял по семь часов на солнце… Однажды я спросил: «Вы ведь закончили биофак, зачем же пошли работать в органы?» А он мне на это: «В университете я бы мог быть ассистентом, зарабатывал бы тысячу злотых или немногим больше, а здесь получил трехкомнатную квартиру и талон на машину. Что мне, трудно постоять несколько недель?..»

Вот такие были мои гэбисты. А Пауле Савицкой – она здесь жила, когда мы выхаживали Гайку, – они сообщали: «Пани Паула, говорят, на Поморской в мясном выбросили колбасу».

*– Но когда в 1983 году вас посадили под домашний арест, чтобы не дать возможности поехать на отмечавшуюся оппозицией сороковую годовщину восстания, вы кричали, что им должно быть стыдно работать в органах.*

– Я только кричал людям на вокзале, что эти господа – гэбисты. Они тогда убежали, но не потому, что им стало стыдно, а потому, что их разоблачили. Хотя гэбисту гордиться было нечем, именно эти работать в органах не стыдились.

Я не могу объяснить все нюансы, которые не укладываются в ваших католических мозгах. Что тут поделаешь…

*– Вся их деятельность строилась на лжи. Они постоянно лгали. Вас они тоже пытались обманывать? Ну хотя бы уговаривали заключить с ними соглашение: например, если вы будете менее активно действовать в оппозиции, то они перестанут вас преследовать.*

– Никто не смел мне такое предлагать. Они знали, что я не соглашусь. Не считайте их дураками.

*– А те, кто писал на вас доносы, тоже лгали?*

– Почему? Они писали правду. Самое большее, иногда приукрашивали. Но это чепуха, со всяким может случиться.

Они искали, к чему бы прицепиться. Вреда мне не причинили – это им было не по зубам. Не осмеливались, все сплошь были трусы.

*– А как вы сегодня относитесь к тем, кто писал на вас доносы?*

– Да я понятия не имею, кто писал. Одного только знаю, но мы с ним приятельствовали, он научил меня разбираться в футболе: какие там правила, как забивают голы и так далее. Каждый день давал мне уроки. Благодаря ему я был au courant[[105]](#footnote-105) – в отделении мне не было равных. А то, что он на меня писал… Ну, писал.

*– И не врал в этих доносах?*

– Он писал правду. Только правда эта яйца выеденного не стоила, никому не могла повредить. Одному ему казалось, будто это невесть что. Ему велели записаться в ОРМО?[[106]](#footnote-106) Велели. Ну так он записался. И раз в год расхаживал по больнице в мундире ОРМО. Но это не имело значения. Он хороший малый. До сих пор работает. Прекрасно делает малые операции, ко всем доброжелателен. И ко мне хорошо относился.

*– Он когда‑нибудь попросил у вас прощения?*

– За что? За то, что, когда я однажды выпил лишнего – было такое, – он немедленно написал донос? За что ему было просить у меня прощения? Он написал правду.

*– Но может быть, из‑за него кто‑то пострадал?*

– Ой, перестаньте. Никто из‑за этой козявки не пострадал. Он очень хороший хирург, малые операции в Лодзи никто не делает лучше него. Перестаньте, надоело.

*– Но если бы на вашем месте был человек, который после таких доносов сломался?*

– Из‑за чего тут ломаться? Когда гэбисты пришли в больницу, чтобы отнять у меня водительские права, я им сказал: «Убирайтесь!» И они ушли, потому что закон был на моей стороне. Они просто хотели мне насолить, но, когда я не поддался, стушевались. Знали, что действуют незаконно. И не важно, хорошо или плохо сработал доносчик, это проявление гэбистской слабости. Гэбисты всегда в конце концов давали слабину. Я не говорю о сороковых или пятидесятых годах, когда они были всевластны и могли убивать. Но потом, как правило, они занимались только политикой. И в результате этой своей политики отдали власть. Отдали власть! Вот так‑то! Десять тысяч долларов туда, сто тысяч сюда, этот богатый, тот бедный – но страна свободная. Они проиграли, и не о чем тут говорить. А то, что были недотепы и не сумели свою власть использовать, всем известно. Всякая диктатура не видит дальше своего носа.

*– Вы когда‑нибудь верили в пропагандистскую ложь? Ваша жена хотела вступить в партию.*

– Ей тогда было двадцать два года. А тут открываются новые возможности: можно получить разные полезные вещи – «железные легкие»[[107]](#footnote-107), то, сё…

Да вы и сами знаете: девушки, они вообще очень эмоциональные. Еще один аппарат дадут, еще один… Говорили: запишешься в партию, получишь очень нужный аппарат. И она готова была записаться, чтобы еще один ребенок смог дышать.

*– Что такое «железные легкие»?*

– Вам этого не понять, я пять лет учился… За две минуты не объяснишь.

*– А как вы запретили жене вступать в партию? Что вы ей сказали* ?

– «Ты идиотка!» Вот и все.

*– У вас никогда не было иллюзий, что коммунисты хотят сделать что‑то хорошее?*

– Были коммунисты, которые этого хотели. Например, в министерстве здравоохранения собралась команда под руководством Штахельского – идейные люди, которые правда прекрасно работали. Подсчитано, сколько хорошего они сделали. Даже для такой пешки, как я, всегда была открыта дверь. Я свободно заходил к министру – он знал, что без дела я не приду. Вообще, поначалу состав минздрава был отличный, гуманный. Поглядите, сколько всего было сделано в первые три года этого якобы «коммунизма»! А почему? Да потому, что этим занимались люди, которые знали, чего хотят. Специалисты. Взять хотя бы «Акцию В»[[108]](#footnote-108): это же колоссально – в Польше искоренили сифилис. Потом много лет в стране не было ни одного свежего случая венерического заболевания – не на чем было объяснять студентам, что это такое.

*– Каковы были границы сотрудничества с властью? Может, стоило записаться в их партию, чтобы эти «железные легкие» все‑таки попали в Лодзь?*

– Нет. Они и без того попали. Моя жена тогда была наивная как ребенок. Не хочется рассказывать, что творилось у нее в голове. Они со Сташеком Новицким уже с четвертого курса дежурили в больнице, хотя о медицине тогда еще понятия не имели! Вычитают что‑то из учебника Орловского и идут лечить детей – врачей не хватало, вот и брали студентов. Я сам на четвертом курсе заведовал отделением – у меня была палата на тридцать коек. Обхохочешься…

*– А что отвечать тем, кто утверждает, будто антисемитские настроения возникли оттого, что евреи поддерживали коммунистов при установлении в Польше преступного режима?*

– Утверждать можно что угодно. Евреи вводили коммунизм? Да сколько их было, этих евреев?! Кто‑то уже подсчитал, сколько евреев служило в Управлении безопасности, и получилось, что ничтожный процент по сравнению с поляками. Коммунизм здесь ввел генерал Серов[[109]](#footnote-109). Вначале наши гэбисты и пикнуть не осмеливались. Русские тут всем заправляли. Даже знаменитая Бристигер[[110]](#footnote-110) была всего‑навсего рукой Кремля, исполнителем. Могла Серову что‑то подсказать: у них были особые отношения, а он плохо знал реалии, – но все решения принимали русские.

Была бы спина, найдется вина. Еврей – удобный враг, презрение к евреям в Польше прививали немцы. Свою роль сыграло и то, что евреев можно было убивать безнаказанно.

Антиеврейские настроения возникали даже из‑за того, что считалось, будто евреи, как бараны, покорно идут на бойню. Раз позволяют себя убивать, значит, сами виноваты. То есть они хуже всех.

Из лодзинского гетто вывезли двести тысяч евреев без единого выстрела, верно? А поляки бы боролись – было ведь Варшавское восстание и так далее. Поляки сражались за свободу, а евреи шли на смерть, как бараны. Вот и росло презрение к этому народу.

Гитлеровцы пять лет успешно вбивали это полякам в голову. Тем более что почва уже была подготовлена: перед войной тоже царили антисемитские настроения. В Варшаве еврейский парень моего возраста не мог зайти в книжный магазин Гебетнера и Вольфа на Краковском предместье – студенты из университетских корпораций сразу же на него набрасывались и били. А в университетах существовало «скамеечное гетто»[[111]](#footnote-111). Никто не призывал убивать евреев, но лозунги «Не покупай у еврея» были везде. На некоторых магазинах и кафе появились таблички: «Евреям вход воспрещен». Во Львове висели огромные транспаранты «День без евреев». И драки постоянно случались. А когда один богатый еврей перед самой войной купил самолет для Фонда национальной обороны, об этом умолчали. В газетах написали, что даритель – некая фирма, но не упомянули, что фирма еврейская.

Все, хватит.

*– Ну так что с этой заповедью: «Не произноси ложного свидетельства»? Можно иногда лжесвидетельствовать?*

– Конечно. Нужно врать, если хочешь спасти человека. Если знаешь, что кого‑то обвиняют несправедливо, но не имеешь убедительных доказательств его невиновности, тогда ври и спасай его.

###### Иоанна Токарская‑Бакир

Однажды, дожидаясь возможности поговорить с Мареком Эдельманом, я пошутила, что мы ходим к нему, как к цадику. И тогда сын Доктора, Александр, сказал, что не помнит, чтобы, когда он был маленький, к его отцу выстраивалась очередь. Когда же начались очереди? После книг Ханны Кралль? Во время военного положения? После того как американцы, западные европейцы и, наконец, поляки доросли до того, чтобы чтить память о Холокосте?

По той же самой причине, по какой израильтянам сегодня не хочется вспоминать об Эдельмане, в Польше Эдельмана полюбили. Не забуду, какая разразилась овация, когда Эдельман вошел в auditorium Maximum Краковского университета, где обсуждалась книга «Страх» Яна Гросса[[112]](#footnote-112). Атмосфера в зале была отнюдь не однозначно доброжелательная, снаружи у входа стояли националисты с лозунгами «Вырвем сорняк». И тем не менее ему аплодировали стоя.

У Славомира Мрожека есть рассказ под названием «Свободный урок» (в книге «Varia. Жизнь и прочие обстоятельства»). На этом уроке было решено сыграть злую шутку с Цвибельштайном – тщедушным и рябым. В класс принесли две пары боксерских перчаток. Цвибельштайн, который в боксеры никак не годился, не мог отказаться от участия в схватке. Бой мгновенно окончился: он сразу получил в нос, из носа потекла кровь. И тут вдруг в класс вошел Лешек Хердеген[[113]](#footnote-113), «высокий блондин, красавец, о каких мечтают немецкие приверженцы расовой теории, который участвовал в Варшавском восстании, сидел в немецких тюрьмах и из них убегал, имел отца на Западе, собаку и красивую невесту. <…> Он был „свой“, „свой“ в доску, настолько, насколько это вообще возможно». Вошел, побледнел и как начал кричать! Будто его самого оскорбили, будто, как пишет Мрожек, «это евреи били поляка, а не поляки еврея. Палачей точно ветром сдуло, остались только сконфуженные сопляки».

Эдельман, старый и некрасивый, был именно таким Хердегеном. Хотя бы потому, что он здесь жил, потому, что хотел здесь жить и делал то, что делал, и чего‑то категорически не допускал. Он вызывал любовь и страх, его слушались даже фашиствующие молодчики – достаточно было ему топнуть ногой. Сам совершенно без сил, он по‑прежнему мог всё. Иногда даже злоупотреблял своим положением: как типичный польский святой, оборачивался чудовищем, каковым может быть только человек, начисто лишенный иллюзий.

Иоанна Токарская‑Бакир – антрополог культуры, социолог, научный сотрудник Институтаприкладных наук при Варшавском университете. Специализируется в области антропологии религии, тибетологии, польской народной религиозности, польско‑еврейских отношений, а также занимается тематикой Холокоста. Автор нескольких книг, в том числе «Легенды о крови. Антропология суеверия» (2008).

## *Не желай дома ближнего твоего*

*Не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего.*

Можно ли желать (или, скорее, вожделеть) не вещь, не человека, а какие‑то человеческие качества – и всегда ли это плохо? Когда вожделение может стать приемлемым для цивилизации или хотя бы для простого человека? А может быть, это вообще разные вещи и не следует их смешивать?

Во время большой акции по уничтожению Варшавского гетто произошла, к примеру, такая история: женщина средних лет, полька, оставила своего мужа‑поляка на арийской стороне и перешла на еврейскую сторону, чтобы пойти с евреем, своим любовником и любовью, в газовую камеру…

###### \* \* \*

*– Бывало ли в гетто так, чтобы супружескую пару разделяли: например, мужа или жену уводили на Умшлагплац, а тот, кто остался, без зазрения совести искал себе другого партнера? Чтобы избежать одиночества?*

– Ну и вопросы вы задаете! Сегодня допустимо, что жена, когда муж уезжает за границу, заводит себе любовника. Это нормально?

*– Но если муж или жена умирает, принято какое‑то время соблюдать траур…*

– Перестаньте, это условности. Надо смотреть, как бывает в жизни.

У моей матери была знакомая, ее муж и сын, как и многие мужчины, ушли в сентябре 1939‑го из Варшавы; потом в гетто у нее был ухажер, с которым она жила год или два, точно не помню. Когда началась депортация, она могла уйти из гетто, а он нет. И она с ним осталась.

У другой женщины муж был в Лондоне. Она вывела детей на арийскую сторону, а сама осталась в гетто с одним мужчиной. Хотя тоже могла уйти. И они вместе погибли.

Но обе женщины успели мне сказать, что это были самые счастливые месяцы в их жизни.

*– Вероятно, в гетто самыми вожделенными были талоны на жизнь.*

– По‑разному бывало. Однажды, когда их раздавали, я видел, как дочь получила талон, а мать не получила. Дочка вцепилась в такое железное ограждение, мать пыталась встать с ней рядом, но дочь отталкивала ее и кричала: «Отойди, отойди!» Я сам видел. А потом она была нашей лучшей связной, но в тот момент так себя повела.

Другая девушка, Рута, которую я хотел вывести из гетто, потому что она была в нашей организации, отказалась уйти – не захотела оставить мать. И в ту же ночь в каком‑то схроне их обеих засыпало, и они задохнулись. Конечно, бывало, что люди жертвовали собой ради своих близких.

*– Есть одна фотография ваших товарищей, сделанная уже после восстания. В лесу, с пистолетами, фасонистые такие…*

– Знаю. Красивые ребята, храбрые партизаны.

*– И форма у них военная, офицерские сапоги и тому подобное.*

– А как же без сапог? Без офицерских сапог ты был никто, ноль.

*– Но ведь вы сами в гетто не ходили в офицерских сапогах.*

– Как это – не ходил? Ходил, конечно.

*– В офицерских сапогах в гетто?*

– Были у меня какие‑то. С полгода, наверно… Видимо, со времени первой акции…

*– …то есть с января 1943‑го…*

– …я ходил в офицерских сапогах. Разжился как‑то… А в моей боевой группе был один парень, который их с меня снимал… Они были очень тесные… а он их снимал мигом: становился ко мне спиной, хватался за сапог, а я другой ногой упирался ему в спину и легонько подталкивал – раз, и сапог соскакивал. Ну а ноги приходилось обматывать портянками, потому что носков не было.

*– Но ведь это было опасно – парамилитарный наряд мог вас выдать…*

– Чепуху городите. Жить вообще было опасно.

*– А так же, как о талонах, если не больше, вы, вероятно, мечтали об оружии. Откуда вы его брали? Стефан Корбонский* [[114]](#footnote-114)*, важная фигура в польском подполье, пишет, что они посылали вам большие партии оружия…*

– Не каждому собеседнику можно верить. Корбонский написал, что командование Армии Крайовой передало нам 500 пистолетов. Но мы через стену получили 50. Куда девались остальные 450? Пропали по дороге? Я понимаю, приказ идет сверху вниз: на каждом очередном уровне кто‑то брал по 50 пистолетов для своей группы. В результате до нас вместо 500 дошло 50. И пускай Корбонский говорит что хочет. Я вам рассказываю, как было, каковы факты, и это везде написано: мы получили 50 пистолетов, 50 гранат и сколько‑то там патронов.

Я не верю, что Грот разрешил в 1942 году отправить в гетто 500 пистолетов, он ведь был против восстания. Но предположим, разрешил, только оружие не дошло, это был лакомый кусок, и каждая группа, через которую оно шло сверху, брала дань. Для своих ребят. Им важнее было самим заполучить пистолет, ППШ, чем перебросить его через стену незнакомым людям. Да и настроение было такое: считалось, что оружие пропадет зазря, потому что евреи никогда не дрались, потому что они коммунисты, то, сё.

И атмосфера была для нас неблагоприятной. В особенности после того, как прервались контакты с АК. У них было железное правило: если кто‑то проваливается, на шесть недель всякие контакты следует оборвать. Так вот, после того как перед самым нашим восстанием случился провал, Зигмунт Фридрих не мог установить с аковцами связь, Михал Клепфиш не мог и так далее. Они приходили на явочные пункты, но из АК там никто не появлялся – ни Генрик Волинский, ни другой связной. Потому что перед тем попался Юрек Вильнер[[115]](#footnote-115). Случайно, где‑то в городе, в квартире, во время общей облавы. Лучшее доказательство, что это была случайность, – то, что за пару грошей мы его выкупили из лагеря. Но правила АК обязывали прервать связь и создать этакий санитарный кордон. Юрек спустя какое‑то время все же связался с Волинским: не то чтобы Волинский не хотел с ним встречаться, – просто он работал на лондонское правительство и был обязан эти правила соблюдать. Мы с ним раньше однажды столкнулись, но случайно. Я, когда выбрался из гетто по каналам, пошел к Тосе Голиборской. Волинский пришел к ней и наткнулся на меня. Но ни он, ни я тот случай не рассматривали как встречу с представителем правительства. Я только ему рассказал, что нам нечего есть и так далее. А восстановить связь удалось только через шесть недель.

Даже с Карским[[116]](#footnote-116) произошла подобная история: когда его, после задержания, Циранкевич[[117]](#footnote-117) вытащил из больницы и отвез в какую‑то усадьбу под Новы‑Сончем, шесть недель никто с ним не связывался. А он был из числа самых надежных людей – как и все курьеры. Такие люди должны были пользоваться абсолютным доверием – ведь их задачей было передавать правительству объективные, честные, достоверные донесения. Их специально обучали быть беспристрастными свидетелями, излагать только то, что слышали, не прибавляя от себя ни слова. Но когда они попадались, к ним относились так же, как ко всем другим. Исходя из того, что даже они могут сломаться и выдать всю сеть. Однако ни один никого не выдал.

Насколько я знаю, Карский несколько дней плавал на лодке в Атлантическом океане, потому что связь где‑то оборвалась и ему пришлось ждать разрешения перейти испанскую границу. Агент экстра‑класса, который с фальшивыми документами пробрался через всю Европу, который никогда не подводил, когда наконец достиг границы, но где‑то там связь нарушилась, вынужден был несколько дней лежать в лодке и ждать. А потом, еще в Испании, пока он не добрался до Лондона, его тоже проверяли: не натворил ли чего‑нибудь, – потому что были сорваны намеченные сроки.

*– А вы соблюдали подобные правила конспирации?*

– Мы в гетто с большим доверием относились к своим людям. Понимаете? А у аковцев было подпольное государство и действовали другие правила. Ведь в этом государстве велись политические игры, и партия с одной политической ориентацией, то есть Национальные вооруженные силы, боролась с Бюро информации и пропаганды главного штаба АК, которое придерживалось левого, прогрессивного направления. Стоило человеку, связанному с НВС, стать руководителем контрразведки АК, как он организовал слежку за своими политическими противниками в АК, и вскоре были убиты сотрудники БИПа Маковецкий и Видершаль. А других выдали гестапо.

И коммунистов Ханку Савицкую и Янека Красицкого другие коммунисты тоже выдали гестапо. Гомулка вел свои политические игры против Финдера[[118]](#footnote-118), против кого‑то еще… В подполье это нормальное явление. Далеко не всё только черное или только белое…

Единственный человек, который все это знал, взял и умер. Я говорю о Марысе Руткевич[[119]](#footnote-119). Она была обыкновенным русским агентом, советской радисткой, а впоследствии – главой секретариата ЦК. Когда ее сюда забросили, обслуживала радиопередатчик. Своим говорила, что радиограммы не должны быть длинными, потому что иначе передатчик запеленгуют. Но ей давали длинные тексты, и в конце концов она попалась. К счастью, она была беременна. У немцев беременных не приговаривают к смерти, так что Марыся в Павяке[[120]](#footnote-120) родила двоих близнецов, кормила их; потом вроде бы советская разведка сторговалась с немецкой, и за два дня до Варшавского восстания за ней приехали и из Павяка на извозчике увезли в город. Вот она знала все досконально. Мы с ней дружили, но, хоть режь ее на кусочки, никаких подробностей не выдавала. Всегда говорила, что ничего не знает. Такая у нее была шпионская выучка.

Но хватит об этом, это к делу не относится.

А связки «свой – враг» были везде. Армия Крайова без этого не могла бы существовать. До меня доходили слухи, будто аковцы встречались с гестаповцами. Возможно, это не так, но если и так, я бы не удивился. Каждой стороне необходимо было знать, что происходит у противника. Все разведки связаны между собой в этакий гордиев узел.

*– А как складывалась ваша и ваших товарищей жизнь, когда после восстания в гетто вы прятались в чужих квартирах в Варшаве? Что делают в ситуации, когда нельзя выйти из квартиры, а при этом хочется участвовать в подпольной деятельности?*

– Есть связные, а по вечерам можно рассказывать друг другу сказки. Особенно отличался Антек – он рассказывал замечательные сказки. Сам придумывал. А еще он знал много стихов, например всего Словацкого. Антек был человек высокой культуры – не только еврейской, но и мировой. А из поэтов выше всех ставил Словацкого, которого знал наизусть.

Летом по ночам он читал «Ангелли»[[121]](#footnote-121). Кроме того, с нами была его любимая девушка, они часто смеялись. И анекдоты мы травили. А жена полковника, которая нас прятала – еврейка, разумеется, – рассказывала всем по соседству, что ее муж в Лондоне, летает на самолетах. Поэтому торговцы овощами продавали ей петрушку и все такое прочее за треть цены. Но над нами постоянно висела опасность, так что сами понимаете… К счастью, нам повезло.

*– У вас тогда было оружие?*

– Было. Но что толку… Если бы пришли гестаповцы, от наших трех револьверов не было бы никакого проку, даже наш единственный автомат в квартире был бесполезен. И вообще, кончайте придумывать мифы. Оружие нужно не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы пугать противника.

*– Сколько тогда стоил пистолет?*

– Двенадцать, пятнадцать, пятьдесят тысяч – смотря какой. Но тогда, на арийской стороне, вопрос об оружии уже не стоял, мы оружие не покупали, зачем оно нам было? У каждого был пистолет или даже два, но это уже не имело значения. Антек ведь не расхаживал по городу с пистолетом, если бы его с ним схватили, это был бы конец. А Целина стрелять не умела, мазала. Казик тоже не ходил по городу с пистолетом. И девушки‑связные не ходили. Если у какой‑нибудь и было оружие, она его прятала где‑то под полом. Но скорее всего, ничего у них не было – зачем оружие в такой ситуации? Нужно было иметь голову на плечах. Уметь выкручиваться. Врать. Да и это не всегда помогало.

*– Вы нам однажды рассказывали, как ссорились с Целиной из‑за денег, которые получили с Запада…*

– За два дня до Варшавского восстания из Швейцарии приехала одна женщина и привезла рюкзак с деньгами. Там было 40 или 30 тысяч долларов, полкило золота и еще что‑то, не могу сказать что. Это все прислали западные сионисты. Впервые они вообще что‑то прислали. Целина считала, что мы должны жить, как любые другие скрывающиеся евреи. «Жегота» выделяла на каждого по 500 злотых, и Целина заявила, что этого хватит, а на водку нам давать она не намерена. Постоянно твердила: ты слишком много пьешь!

А посылку эту мы получили за два дня до Варшавского восстания! Сам не знаю, зачем я вам о такой ерунде рассказываю… Мы спрятали эти сокровища в какой‑то дыре в той квартире на Лешно, где прятались, и во время восстания все сгорело.

*– Значит, за этим рюкзаком во время восстания Антек отправил Казика Ратайзера и еще несколько человек? Дал невыполнимое поручение прорваться в уже занятый немцами район… Но они прорвались и чудом уцелели. Кстати: вы однажды упомянули, что завидовали тому, как Антек выглядел.*

– Ничего подобного я не говорил, опять вы мне что‑то приписываете.

*– Вы говорили, что Антек выглядел как шляхтич. Есть такой снимок: он идет с Казиком Ратайзером – этакий польский пан, с усами, с чубом.*

– Точно, так он и выглядел. Но чтобы я ему завидовал? Ясное дело, каждому хотелось выглядеть так, чтобы не привлекать внимания. Но что значит «завидовать»? Чепуху городите.

*– И что же: вы никогда никому не завидовали? Не хотели иметь красивую машину? Вы же так любите водить… А что еще вам бы хотелось добыть, сделать, написать, создать?*

– Уже ничего. Всё, я закончил. В моем возрасте… Паула Савицкая говорит: это же так долго продолжалось, ты прожил такую долгую жизнь. Кто‑то меня спросил: как можно жить, когда все твои близкие умерли? Я ответил: ты что, хочешь и меня отправить в могилу?

Чужды мне эти ваши понятия. Не понимаю, о чем вы говорите. Завидую я, не завидую… Глупости какие‑то.

*– Ну а заповедь: не желай всего, что есть у ближнего твоего? Иначе говоря: не завидуй.*

– Я не завидую. Я не хочу быть Рокфеллером.

*– Вы когда‑нибудь были богаты? Может, в какую‑то минуту таким себя почувствовали?*

– Нет. Но деньги у меня были всегда. И всегда много: у людей на хлеб не было, а у меня почему‑то было. Не знаю, как так получалось. Может, потребности были очень маленькие. Но деньги у меня водились, и всегда кто‑нибудь возле меня мог поживиться.

*– А сразу после войны евреи, которых сначала ограбили гитлеровцы, а потом их дома заняли поляки, пытались добиться возврата своего имущества?*

– Пытались, но ничего у них не получалось. Впрочем, точно сказать не могу, я ведь, как вы знаете, не принадлежу к числу тех, кому было что возвращать.

*– Вам когда‑нибудь хотелось разбогатеть? Бывали такие простые человеческие мечты: стать богатым? Сделать карьеру?*

– Перестаньте. Будь это так, неужели я стал бы столько времени с вами, журналистами, тут сидеть?

*– А журналистом вам быть не хотелось? Или режиссером?*

– Нет. Надоело мне отвечать на ваши вопросы. Чего вы, собственно, от меня хотите?

*– В заповеди говорится о желании обладать разными вещами. А как насчет желания сделать карьеру? Вам никогда этого не хотелось? Коммунисты не позволили вам защитить диссертацию…*

– Не позволили. Это свинство, не спорю. Ну и что мне было делать?

*– Тогда в Кракове вся комиссия проголосовала за вас, но Варшава…*

– Не Варшава, а один человек. Видно, что вы болеете за Краков. А ведь там не все прошло гладко. Краковский ректор пригласил в комиссию серьезных рецензентов; сам он, замечу, взял обратно свой голос. После голосования власти вызвали рецензентов и ректора на аттестационную комиссию. Когда они сидели на скамейке под дверью, к ним подошел какой‑то тип и сказал: не вмешивайтесь в это дело, оно политическое, и тому подобное. Тем не менее они не ушли и выложили все, что думают. В частности, спросили у оберрецензента (между прочим, он был генерал), почему нельзя присвоить мне ученую степень. И услышали: «Потому что нельзя». На том все и закончилось.

Потом мой коллега по больнице стал министром здравоохранения. Он говорит: «Марек, представь ту же самую работу, только измени название. И завтра же с ней приходи». Я ответил: «Пошел ты знаешь куда… А передо мной извинись». А он мне: вот этого он сделать не может. Да и зачем мне эта степень нужна? Чтобы на могиле написали «доцент»?

*– Вам потом не хотелось ему отомстить?*

– Опять вы за психологию… Если самим нравится делать подлости, не думайте, что все подлецы.

*– Мы как раз хотим услышать отрицательный ответ.*

– Хотите, чтобы я сказал «нет»… Он болен, у него диабет. Оставьте его в покое.

*– Но и без того в больнице к вам все обращаются «пан доцент».*

– Это они назло властям стали меня так величать. Знают ведь, что я не доцент.

*– Назло властям, но еще и потому, что по праву вы должны быть доцентом.*

– Нет… Врач в больнице, который меня даже не знает, не вникает в подробности, но раз в отделении все так говорят, то и он повторяет.

*– Кажется, даже вахтер отказывается впускать тех, кто говорит, что идет к доктору Эдельману.*

– Что? Почему?

*– Он говорит, что доктора Эдельмана здесь нет. Есть пан доцент Эдельман.*

– Ну, значит, для вахтера я авторитет.

*– Когда вы в жизни особенно сильно радовались? Помните самый замечательный день?*

– Не знаю. Нет, знаю! Когда я познакомился с Паулой Савицкой. Она приехала в больницу забрать грязное белье Гражины Куронь. Пришла в красных брючках, нет, в комбинезоне, вдобавок красном! Представляете? Она приходила рано утром, прямо с поезда. Страшно мне это нравилось: в такую рань, два километра пешком, с Лодзи Фабричной. Пешком – потому что экономила: билет на трамвай стоил 50 грошей, которых у нее не было. Потом быстренько бежала ко мне домой: сготовит обед, постирает, помоет пол – и снова идет к Гражине, а в пять уезжает обратно в Варшаву.

Как не влюбиться в такую женщину? Она была очень веселая. Бывало, поглядит на меня и говорит: «Ох, какой же ты красавец!» Дурака, в общем, валяли. Страшно веселились.

*– А вам не хотелось добиться научных успехов? В медицине?*

– Хотелось, чтобы какие‑то вещи, которые я придумал, вошли во врачебную практику. И могу быть доволен: кое‑что вошло. Например, снимки, сделанные во время наших операций, публиковались в солидных медицинских журналах как иллюстрации к статьям, где описывались операции, которые проводили американцы.

И еще одно: моим коньком были операции на венах, и пара моих идей получила развитие. То, что я в той своей диссертации писал об отеках, вошло в классическую литературу по физиологии, хотя и не под моей фамилией. Но это есть – и прекрасно.

*– Вам действительно не обидно, что эти идеи приписываются кому‑то другому?*

– Не обидно. Это все мелочи. Я правда ни на кого не в обиде. Кое‑что я сделал, а теперь я уже старый, не хочу ничего делать. Да и медицина теперь другая, и молодежь другая. Я не могу постигнуть ментальность нынешних студентов. Для них, как, впрочем, и для всей медицины, главное не человек, а бумажка.

Удовлетворение приносит не то, что объявят во всеуслышание, какой ты умный. Колоссальной удачей считается, если ты попал в верхние эшелоны.

Через три месяца после того, как профессор Моль провел с нашей помощью первую операцию в остром периоде инфаркта, он, мой самый большой враг, публично заявил, что такое при его жизни больше не повторится. А потом сам обнародовал шесть случаев операции в остром периоде, но… пускай радуется, верно? И сообщил – тоже публично, – что это прекрасный путь для медицины. Люди, которые его слова слышали, отлично знали, кто автор этой концепции, а кто хвастун. И за советом шли не к нему, а ко мне. Это тоже кое‑что значит.

У нас были превосходные врачи. Светлые головы. Взять, к примеру, Рышека Фенигсена, моего коллегу по больнице, – потрясающий врач. Первый в Польше провел реанимацию, пользовался огромным уважением. Потом он уехал в Голландию, а оттуда в Штаты. Написал книгу об эвтаназии, и Папа Римский пригласил его в Кастель‑Гандольфо на одну из своих конференций. Сказал, что прочел эту книгу и считает ее выдающейся. Скоро в Польше выйдет очередная книга Рышека об этике в медицине – «Клятва Гиппократа».

Или Лёлек Зильберблат, легенда нашей больницы и мой шеф. Он говорил: «Сделайте то‑то и то‑то». Мы: «Да мы не умеем, мы никогда этого не делали». Он: «Не беда, я тоже не умел». И до свиданья.

Так он нас тренировал. Но мы были взрослее теперешних наших ровесников. С самого начала чувствовали свою ответственность. Меня на третьем курсе послали в Лович руководить организующимся там терапевтическим отделением, хотя я вообще не знал ни бе ни ме. А деваться было некуда. Однажды привезли больного с гнойным плевритом. Вижу гнойную мокроту, а что делать, понятия не имею. Но пришлось оперировать, потому что тамошние хирурги после трех суток дежурства падали с ног от усталости.

А вот как я сделал кесарево сечение: операционная сестра водила моей рукой, а я резал. И вдруг она кричит: «А теперь входите за ребенком!» Я куда‑то вхожу, и вдруг хлюп! – матка буквально расползается. Но ребенка я вынул, сестра на него подула, пошлепала. А теперь ведь еще нужно зашить! Она снова берет мою руку, передвигает ее туда, сюда, и мы через край зашиваем матку, а другой студент льет эфир, чтобы роженица спала. В конце концов сестра говорит: «Ладно, пусть будет так, хотя шрам останется».

Эта сестра двадцать лет ассистировала при операциях и могла оперировать лучше всех хирургов, но ей не разрешалось. Поэтому она делала операцию моей рукой.

Наконец все уже в порядке, больная спит. И только тогда приехал завотделением, кстати, превосходный хирург, но к тому времени все уже было сделано: ребенок родился, мать зашили. Он посмотрел: «Ничего, будет держаться».

Роженица эта проснулась только на третий день, но встала здоровая. Вот так вот.

*– Расскажите про свою машину, «симку».*

– С удовольствием. «Симка», белая с черным верхом. Один‑единственный такой автомобиль. В те времена красивее не было. Как‑то я поехал на ней в отпуск в Лагов. Кто‑то не знал моего адреса и просто написал на конверте: «Лагов, белая „симка“ с черным верхом». И письмо дошло.

Мне ее купила жена, когда была на стипендии во Франции.

*– А долго у вас была эта «симка»?*

– Ой, долго, много лет. Я ее продал, когда она проехала изрядно километров, но те, кто ее купил, кажется, наездили на ней еще в десять раз больше.

*– Вы вообще любите ездить на автомобиле.*

– Нет, ездить я не люблю, я люблю, когда меня возят. Наездился с 1956 года, хватит.

*– Но в больницу каждый день все еще ездите?*

– А куда деваться. Будь я богатеньким, завел бы шофера в ливрее: я выхожу, он меня приветствует, я сажусь и еду. А так приходится самому.

*– Как вы относитесь к протестам врачей в свободной Польше? Во многих случаях их требования кажутся обоснованными, и тем не менее вам случалось критиковать коллег и даже медсестер за, так сказать, алчность.*

– Никогда не бывало, чтобы врач оставил больного, когда жизнь того под угрозой. Это все пропаганда, так что и говорить тут не о чем.

Перестаньте: они, как и все, отстаивают свои интересы. Сейчас у нас капитализм, и каждому хочется больше зарабатывать. У меня всю жизнь была зарплата 20 долларов – независимо от валюты, примерно 20 долларов. А последнее время я получал около 400 долларов. Знаю, на Западе врачи зарабатывают больше.

Всем хочется получать больше и жить лучше, но врачи ведь не умирают с голоду. А если хотят жить, как на Западе, пускай туда переезжают, у нас страна бедная. Нет таких денег, чтобы так же хорошо оплачивать их работу.

Ну и, конечно, неправда, что работа врача непродуктивна. Посмотрите, сколько людей из тех, кого я лечил, вернулись к нормальной жизни! Кто, как не врач, способен поставить человека на ноги, чтобы потом тот мог снова работать? Пускай это не на сто процентов зависит от врача, но даже если на пятьдесят – все равно дорогого стоит.

Разумеется, хорошо будет, если анестезиологи добьются повышения зарплаты. Но, например, у нас в больнице не было ни одной забастовки врачей. А зарабатывали они не больше других. Все эти забастовки начинались из‑за безобразий, которые творили профсоюзные боссы.

Да и вообще, что значит «достойно зарабатывать»? Я этого не понимаю. Зарабатывают столько, сколько позволяет рынок.

Перестаньте повторять эти глупости. Неужели врач станет хуже лечить, если ему за дежурство будут платить не 600, а 500 злотых? Это все раздувается только ради того, чтобы заработать лишних 1000 злотых. Чтобы купить не малолитражку, а более дорогой автомобиль, «симку» или что‑то в этом роде. Почему‑то я не вижу голодающих врачей с опухшими ногами.

*– Кстати, о голоде и водке: Адина Бляды‑Швайгер вспоминала, что в больнице в гетто вам выдавали спирт и медицинский персонал ежедневно после обхода выпивал по рюмочке, рассматривая это, в частности, как дозу калорий. Это вас спасало.*

– Водка ее спасла? Фантазирует. Я вообще не уверен, умела ли Инка пить.

*– Она пишет, что тогда научилась.*

– Ну, если она так говорит… Я не видел… Может, и пила. Не знаю, да это и не важно. Так или иначе, она, когда выходила на арийскую сторону, всегда возвращалась с бутылкой водки, но не для себя, а для меня. Хотя у меня для этого были свои люди.

*– А тогда легко было убежать на арийскую сторону?*

– Если были деньги и связи – знакомые, друзья, родственники, – конечно, можно было убежать. Но это было целое предприятие. Не подумайте, что тот, кто собрался бежать, перекидывал через руку серый плащ и, вроде как гуляючи, переходил на арийскую сторону. Нужно было заранее все подготовить: жилье, кен‑карту – настоящую или поддельную, и так далее. Чтобы спасти одного человека, требовалось привлечь нескольких. Был такой Станислав Янковский – он подделывал удостоверения личности, пропуска… все, что угодно. Гениально это делал. Документы выглядели как настоящие. Это стоило денег – деньги, конечно, он не брал напрямую, их передавали через посредников – хотя бы через пройдох, которые имели доступ к чистым бланкам.

Так что из гетто убежать можно было. Но только при условии, что у тебя есть или очень большие деньги, или очень хорошие связи на арийской стороне.

Например, у доктора Хиршфельда были связи, он был крупный ученый. Те, у кого там имелись знакомые, друзья, родственники, могли выйти, и не имея больших денег. А если связей не было, приходилось запастись немалыми деньгами, чтобы снять квартиру. А еще найти человека, который согласился бы приносить еду, и так далее. Это не всегда получалось, бывало и так: ты платил деньги, а хозяин квартиры выдавал тебя немцам или польской полиции. Или тебя шантажировали шмальцовники.

Тем не менее в Варшаве на арийской стороне в 1943 или 1944 году было примерно двенадцать‑пятнадцать тысяч евреев. Это известно, потому что именно стольким «Жегота» – организация, которая от имени польского правительства помогала прятавшимся евреям, – выплачивала деньги при посредничестве разных связных. Суммы были маленькие, но тем, кто прятался, хватало, чтобы не умереть с голоду. И даже если спрятавшихся было десять тысяч, все равно это много.

Но из гетто вышло гораздо больше. Очень многие попадались, очень многие. Даже если им удавалось найти жилье, их выслеживали шмальцовники, польская полиция или немцы. И если у человека не было больших денег, чтобы откупиться, его сначала отводили в обычный полицейский участок, а оттуда в гестапо. Хотя был такой участок на Сенной, начальник которого смотрел на это сквозь пальцы, и оттуда можно было выбраться, иногда даже без денег.

*– Каков был масштаб вымогательства? Много ли было шмальцовников?*

– Что значит «много»? Если перед немецким постом у выхода из гетто стоят человек двести поляков, которые хотят задешево купить одежду, простыни, полотенца – евреи продавали все это за гроши, за мешок картошки, – то достаточно, чтобы в толпе оказалось двое шмальцовников. Ты ведь не знаешь, кто из этих двухсот может тебя выдать. Идешь, а эта пара шмальцовников вытаскивает тебя из колонны: «Что, выходишь, да?» А остальные сто девяносто восемь не реагируют. Все отворачиваются, ничего не видят – точнее, не хотят видеть. Шмальцовник затаскивает тебя в подворотню и отнимает все – или плати ему большие деньги, или отдавай вещи, которые ты вынес на продажу. А если у тебя ничего нет, сдает тебя немцам. Или могло быть иначе: он получает деньги, и хотя сразу тебя не выдает, но уже приметил. Следит за тобой и раз за разом требует очередную дань. Если у него хорошие отношения с немцами, с крипо, то есть Kriminalpolizei[[122]](#footnote-122), он с ними делится, чтобы они закрывали глаза на его делишки.

А когда у еврея, которого «вычислили», заканчиваются деньги, его выдают.

Поэтому что значит: много или немного было шмальцовников? Сосчитать их ведь нельзя. Суды Армии Крайовой многих приговорили к смерти. Но приведены в исполнение были, кажется, только пять приговоров, потому что командир группы, которая должна была проводить экзекуции, заявил, что его ребята не палачи. Говорил: обвиняемых в том, что они выдавали евреев, надо будет судить по всем законам в свободной Польше. Так что сорок с чем‑то приговоренных к смерти шмальцовников выжили и, вероятно, так и не понесли наказания. Может, кого‑то и осудили, не знаю.

*– Но не все требования заповеди нам понятны: скажем, не желай жены ближнего твоего…*

– Отстаньте от меня. Это вы ходите в костел, я не хожу, так что кончайте про заповеди.

*– Да ладно, уж и пошутить нельзя…*

###### Ксендз Анджей Лютер

Марек Эдельман был неважного мнения о людях. Он считал человека неудачным созданием со скверным характером – попросту плохим. Бога нет, потому что не может существовать Бог, который допустил трагедию гетто, истребление людей. Ничего там, наверху, нет – там ни светло, ни темно, ни холодно, ни жарко. Есть только великое Ничто. Но жизнь человека надо защищать до последнего, даже наперекор природе.

Я знаю, что Марек Эдельман отвергал Декалог, он просто не верил в Бога – ни в «еврейского», ни в «христианского». И тем не менее в жизни руководствовался основной заповедью: «люби ближнего своего». А вот я, как человек верующий – не важно, что священник, – признаю, что в каждом человеке есть Бог. На самом деле Эдельман любил человека, независимо от того, что о нем думал. Наверняка он бы никогда не признался в этой «любви», поскольку не терпел патетики, высокие слова выводили его из себя. Однако сам всю жизнь боролся за человека и помогал ему, хотя не заблуждался относительно дурных черт человеческой натуры. Я всегда считал его «христианином», хотя доктор Эдельман, услышь он это, наверняка рассвирепел бы и не пожалел, мягко говоря, крепких слов.

Эдельман был «скептиком‑гуманистом». Он отвергал общепринятую, устоявшуюся систему понятий. Ханна Малевская, когда‑то писавшая о Джозефе Конраде, заметила, что великий писатель не нашел в мире, в котором жил, никакой системы этических понятий, а обнаружил только туман, отрицание. Не видя системы ценностей, он подсознательно, инстинктивно добивался ее создания. Малевская назвала такую позицию воинствующим гуманизмом. У Марека Эдельмана я вижу ту же конрадовскую черту. Ведь он всем своим поведением – возможно, подсознательно – доказывал, что высшие ценности существуют, и боролся за них. Иначе незачем было бы жить и не за что умирать. Я уверен, что доктор Эдельман обрел спасение и теперь уже знает: Бог существует. Отрицая Его, он всю свою жизнь отдавал служению Ему.

Анджей Лютер – католический священник. Родился в 1956 году; преподает религиоведение и экуменизм в Высшей духовной семинарии в Ловиче, защитил диссертацию в области экуменизма. Учась в Лодзинском университете, во время студенческой забастовки (1980) участвовал в работе Независимого союза студентов. В 1984 году поступил в Варшавскую духовную семинарию. С 90‑х годов занимается приходской деятельностью. В настоящее время священник ловицкой епархии; ощущает себя прежде всего духовным наставником, в частности ведет пастырскую работу в журналистской среде. Публицист еженедельника «Тыгодник повшехны» и журнала «Вензь», а также – как знаток тематики – ежемесячника «Кино».

## *Заповедь новую даю вам…*

*Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим»; сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.*

###### \* \* \*

*– Вы отвергаете все заповеди? Мы знаем, вы говорите: оставьте его в покое, Он спит, однако…*

– Не мучайте меня. Я правда их не знаю. Всё, закончили.

*– Но вы сами говорите: нужно всегда быть с тем, кого бьют, независимо от того, кто он, и нужно его приютить, нужно спрятать его в подвале…*

– Нужно. Но при чем тут заповеди?

*– Есть заповедь: люби ближнего, как самого себя.*

– Это правильно. Это то же самое, хотя и другими словами.

*– Получается, некую систему ценностей можно оторвать от религии.*

– Да, потому что ценность – она ценность сама по себе, а не потому, что ее таковой признает та или другая религия. Все ценности – мирские, а религии – католические или иные – их себе присвоили. Ну что вы привязались к этим заповедям? Небось мальчиками прислуживали на мессе.

*– Даже если прислуживали – что в этом плохого?*

– Мне это не мешает. Но я не скажу, что про вас думаю.

*– Мы себе это представляем. А потом просыпаемся в холодном поту от страха.*

– Ну конечно!

Я на вас не злюсь, просто не всегда нахожу с вами общий язык. Не говорите со мной так. Да и с чего бы мне злиться? И бояться меня не надо, я ведь вас не убью. Кстати, убивать мне нечем. Все, абсолютно все оружие у меня забрали, вернее, я сам, идиот, отдал. Когда в Польше после войны распускали Бунд, я взял такси то ли извозчика, собрал весь арсенал, который прятал у себя под печкой, и отвез в наше помещение, здесь, в Лодзи. Сорвал пломбы со шкафа – шкаф уже был опечатан – и все туда засунул.

*– Когда вы впервые встали на защиту слабого?*

– Я уже старый, не помню.

*– До войны?*

– Не знаю.

*– Но встали. Откуда это у вас? Ведь это не так просто.*

– Не знаю. Странный вопрос… Смотря что это значит: встать на защиту слабого. Когда мальчишки дрались в парке Скарышевского, неизвестно было, кто сильнее, а кто слабее. Или на Бялой улице: и там, и там бросались камнями, но кто был слабее, сказать трудно.

Все зависит от конкретных обстоятельств. Был, например, случай, когда одну девушку хотели загнать на Умшлагплац… Молоденькая такая, лицо пылает, вцепилась обеими руками в железное ограждение перед магазином, а двое полицейских ее оттаскивают. Она не была слабая, этакая бой‑баба, но их‑то было двое. А рядом уже шла толпа, которую гнали на Умшлагплац. Я с противоположной стороны улицы видел, что один из полицейских маленький, хилый и с ним можно справиться. Ну и набросился на них… Красиво получилось: эти двое мне уступили, и девушка пошла себе домой. Что с ней дальше сталось, не важно, во всяком случае, в тот раз она уцелела.

*– Но откуда у вас взялся такой импульс?*

– Разве человек знает, что откуда у него берется? Тащить кого‑то на смерть – это свинство. Это плохо.

*– Может, вы просто были так воспитаны? Вас учили, что надо помогать другим людям…*

– Да, в школах ЦЕШО [Центральная еврейская школьная организация; в нерелигиозных школах ЦЕШО преподавание велось на идише и на польском. – *Прим. В. Б. и К. Б.* ] молодежь учили солидарности, равенству, любви. Эти школы были организованы и содержались Бундом, хотя не все учителя были бундовцами. Но идея у них была одна: воспитать молодежь порядочными людьми. А человека тогда можно считать порядочным, когда он помогает тем, кто слабее него. Конечно, никто не говорил: бросайся на защиту слабого. Говорили только: людей надо оберегать от зла.

Вот так… Но сказать, почему человек поступает так или иначе, трудно. Как правило, это импульс. То есть мгновение, ты даже не успеваешь задуматься. Если бы задумался… это было очень опасно. Тут полиция, там немцы, то, сё… Если не задумываться и у тебя возникает импульс, ты по его подсказке и действуешь.

Только нужно, чтобы они были – эти правильные импульсы.

*– И еще одно: вы любите повторять строчки из песни, где говорится, что не важно, к какой ты идешь цели, идти нужно по солнечной стороне* [[123]](#footnote-123).

– Да, самое важное – идти по светлой стороне.

*– Что это означает на практике?*

– Да хотя бы противостояние силе. Например: есть гитлеровская сила и есть сила коммунистическая, а демократия слабовата. Мощь демократии зависит от общего настроя населения. И защитить демократию удается только тогда, когда существуют какие‑то силы, способные бороться с фашистами и с коммунистами, а также есть поддержка общества. Я уже говорил: городское партизанское движение невозможно без поддержки населения. Успех зависит от того, каков общий дух. Если большинство против, ничего не получится. Никто тебя не спрячет, не даст тебе хлеба, не даст воды и так далее. Но если люди на твоей стороне, они спрячут тебя под перину, когда увидят, что идет патруль. Оккупант может заметить, что под периной кто‑то лежит, но может и не заметить.

Если общество борется за то же самое дело, что и маленькая группа, у которой есть десять пистолетов и она стреляет, то вместе они победят.

*– А вам никогда не казалось, что вы можете придумать свои десять заповедей?*

– Я бы не смог. Десять заповедей – это теория. А я поступаю в зависимости от обстоятельств. Человек совершает хорошие или плохие поступки, искренне веря, что именно так надо поступить. Об этом и поется в той песне.

Моя обобщенная заповедь могла бы гласить: всегда все делай из искренних побуждений. Иначе самые лучшие намерения могут привести к самым плохим результатам. А если искренне веришь, что поступить нужно только так, то совесть твоя чиста – даже если у тебя ничего не получилось.

*– Даже если неудача повлечет за собой печальные последствия?*

– В любой поступок заложена возможность неудачи. На войне погибали твои подчиненные. Ничего не поделаешь. Скажем, ты вступаешь в бой с полсотней противников и трое или пятеро из твоих людей погибают. Но это как бы включено в риск операции.

Конечно, потом хочется разобраться, почему эти пятеро погибли. Обязательно должно было так случиться? Они погибли оттого, что ты плохой командир? Или, может, они не выполняли твоих приказов?

Но главное, надо быть глубоко убежденным в том, что ты все делал с наилучшими намерениями и использовал все свои знания. Тогда твоя совесть чиста и в целом все в порядке – независимо от того, была ли ситуация безнадежной или все‑таки какой‑то шанс существовал.

Я об этом толкую с самого начала, но до вас не доходит.

Ничего не доходит.

###### Кшиштоф Песевич

Командир Марек Эдельман. Я встречался с Ним раз десять‑пятнадцать. Имел возможность – иногда долго, иногда недолго – вслушиваться в то, что Он говорил, или всматриваться в Него, потому что говорил Он мало. Важен был каждый жест, каждое слово Командира Марека Эдельмана. Слова были подобны приказам. Жесты – подобны поручениям; иначе быть не могло, ибо ощущалось, что за Ним стоит огромный опыт. И История, которая навечно отбросила черную тень на все, что было раньше. Его слова‑приказы, часто обидные, открывали путь выхода из этой тени. Он имел право приоткрывать эту дверь.

Слова Командира, слова‑приказы, звучали знакомо: «Да будет слово ваше: „да, да“; „нет, нет“». Командир говорил: «Какой Бог? Где там был Бог? Там был голод! Вы знаете, что такое голод? Вас мама кормила манной кашкой! Не говорите мне о Господе Боге! Сам человек – плохой!» Это слова‑приказы Командира. Это – «да, да, нет, нет». Командир говорил, приказывал: не ссылайтесь на Господа Бога, сам человек плохой. А не призывает ли Командир, сознательно или бессознательно, своими простыми «да, да, нет, нет», продиктованными его порядочностью, следовать мудрой, глубокой и звучащей почти как приказ заповеди с Моисеевых скрижалей: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно»? Господь Бог «спит себе там», – тоном, не терпящим возражений, говорит Командир. Он в претензии к Богу? Или хочет этим сказать, что Бога нет? А ведь в конце – держа в руке горящую сигарету – Командир говорит: «Без близости никто бы не выжил… Тот мужик здоровенный был… а она крохотная, вся величиной с его руку… видно было, она чувствует себя в безопасности… конечно, потом оба погибли…» Командир говорит о близости. Говорит: «да, да, нет, нет», – нужна была надежда. Да – Командир не терпящим возражений тоном говорит, что любовь там была. Говорит: «Без любви никто бы не выжил». Да – близость, надежда, любовь там были необходимы. Мне бы хотелось спросить у Него: не должны ли эти слова – близость, надежда, любовь, которые Он произносит всегдашним своим приказным тоном, – писаться с заглавной буквы? Вслушиваясь в Его «да, да, нет, нет», я думаю, что, наверно, должны. С уважением относясь к приказам Командира, будем соблюдать первую часть Заповеди Любви. Не станем произносить имя Бога напрасно. Но дальше в Писании сказано: «Возлюби ближнего твоего как самого себя». «Да, да…» – Ему не требовалось этого произносить, Он сам был этими словами. Хотя и говорил, что человек – плохой, но все, что Он делал, с огромной силой утверждало «да, да…» – тому свидетельством Его поступки. А это горькое «нет, нет» относилось к злу.

Когда думаешь о Его позиции, Его словах‑приказах, законно возникает вопрос: любить ближнего надлежит «как самого себя», то есть не больше, чем себя? Вероятно: «да, да…». Командир всегда будет ассоциироваться с тем, что современники называют правами человека. Эти права были сформулированы уже после трагедии нашей цивилизации и в значительной степени – как результат этой трагедии. Он имел к ним непосредственное отношение. Первая статья Декларации прав человека гласит: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах». Достоинство человеческой личности – источник всех прав и обязанностей. Оно неотъемлемо. Даже если за него приходится платить жизнью. Тут сразу в уме возникают понятия: героизм, мученичество, святость. То есть граница любви к ближнему – неотъемлемость достоинства. Думаю, под Его суровыми, поистине аскетическими, часто горькими словами подразумевались те права и обязанности, которые продиктованы именно человеческим достоинством.

А если бы спросить у Него сегодня, сохранится ли эта неотъемлемость достоинства спустя какое‑то время? Сохранится ли опыт Его поколения будто высеченным в граните – опыт, говорящий, что достоинство – это всё? Мы бы увидели, как Он смотрит своими умными теплыми глазами, на минуту задумывается, затягивается сигаретой, но в тишине и молчании в ушах у нас будут звучать Его не терпящие возражений мудрые слова: «да, да, нет, нет».

Кшиштоф Песевич – юрист, сценарист, политик. Родился в 1945 году. Был обвинителем на процессе убийц ксендза Попелушко[[124]](#footnote-124), защитником на суде по делу полковника Рышарда Куклинского[[125]](#footnote-125); долголетний член Высшего адвокатского совета и эксперт «Солидарности». Соавтор многократно награждавшихся сценариев к семнадцати фильмам Кшиштофа Кеслёвского, в частности «Без конца», «Двойная жизнь Вероники», «Три цвета».

С начала 90‑х годов активно участвует в политической деятельности, почти непрерывно заседает в сенате свободной Польши. Принимает участие в работе многих культурных институций.

## Послесловие

###### *Ученики гливицкой «Школы с характером», гости Марека Эдельмана*

«Ну что вы так смотрите?» – так началась наша встреча с паном Мареком. Меня удивило его отношение к нам. Я думала, мы едем к симпатичному старичку, а встретил он нас довольно холодно, так что я быстро вернулась на землю. Он сразу дал нам понять, что не намерен долго рассказывать о том, что сделал.

Он ждал чего‑то от нас. Называл нас молчальниками, несколько раз выгонял из дома, ворчал. Я хотела его удивить и сказать что‑нибудь умное, но, как и остальные, решила сидеть тихо, чтобы не испортить дело. Пани Паула смеялась и над тем, в какое мы попали положение, и над ним самим. В тот день я не понимала, что происходит. Его посыл дошел до меня только спустя какое‑то время. Он спрашивал, что мы хотим делать в жизни, – помню, что он начал с меня и что я его боялась. Любитель коньяка и сигар, он хотел внушить нам только одно: чтобы мы просто делали свое дело.

«Пан Марек, почему вы решили руководить восстанием?» – «Кто‑то ведь должен был! Ну как, еще что‑нибудь или вы уже уходите?»

У него получилось, теперь наш черед.

Агата Янас, 1‑й класс лицея, 16 лет

Авторитет, герой и трудный собеседник… Эти три слова первыми приходят мне в голову после встречи с этим необыкновенным человеком. Хотя прошло столько лет, его личность излучала харизму и силу, что заставляло смущенно молчать даже самых красноречивых ребят. О чем, в конце концов, могли мы его спросить? Большинство из нас прочитали биографию героя, а также историю восстания в гетто. Однако никто, приехав в Лодзь, не оказался готов к дискуссии с умеющим блестяще «отбивать удары» Мареком Эдельманом. Большинство представляли себе руководителя восстания сентиментальным и потрепанным трудными временами старичком.

Сильнее ошибаться было нельзя!

Ясность его ума, четкость высказываний и уверенность в своей правоте всех привели в замешательство. Мы быстро поняли, что разговор не будет легким, тем более что, когда речь шла о драматических событиях его жизни, часто появлялся философский уклон. На вопрос, что самое важное в жизни, он всякий раз отвечал: «В принципе самое важное – сама жизнь. А уж коли есть жизнь, то самое важное – свобода. И уже неизвестно, что важнее…»

Эти слова ясно показывают, какой сложной была в глазах Эдельмана система человеческих ценностей, в особенности когда пришлось сопоставить ее с военной действительностью. Особенно трудным разговор получился потому, что и сам Эдельман хотел что‑то от нас узнать: например, как мы с перспективы молодежи видим и оцениваем мир. Казалось бы, ничего сложного тут нет, однако неожиданно мы растерялись, а это в глазах Эдельмана выглядело слабостью.

Аргументы, опирающиеся на религию, оказались бесполезны, потому что он объявил себя атеистом.

Сильная личность Марека Эдельмана стала причиной того, что вместо ожидаемых воспоминаний о плохих временах мы выслушали настоящую лекцию – это был интеллектуальный вызов, заставивший нас задуматься о безнадежности выбора, который не раз вынужден был совершать человек «потерянного поколения».

Мы познакомились с одним из последних свидетелей самого худшего периода в истории Европы. Он рассказал, объяснил и выслушал…

Именно за это мы ему благодарны.

Томаш Турецкий, 3‑й класс лицея, 18 лет

Для меня встреча с Мареком Эдельманом была огромным переживанием. Когда мы начали с ним разговаривать, меня поразило, насколько он открыт и готов выслушать то, что мы хотели ему о себе рассказать. Он спрашивал о наших планах на будущее, кем мы хотим стать, куда пойти дальше учиться. Я думала, это он будет говорить о себе, а ему, хотя он мог рассказать нам о стольких вещах, хотелось послушать нас, школьников.

Это произвело на меня большое впечатление.

По правде сказать, ему не интересен был разговор о том, что он когда‑то пережил в гетто.

Возможно, все его об этом спрашивали, и у него уже не было охоты в очередной раз это повторять.

И наверно, ему неприятно было возвращаться к болезненным воспоминаниям. Возможно…

В одном я уверена: Марек Эдельман был необыкновенным человеком, и я наверняка никогда его не забуду.

Кася Грабец, 2‑й класс гимназии, 14 лет

Сидя у себя в комнате, я вспоминаю уютную гостиную варшавского дома, окружающих меня ребят из нашей школы и сидящего передо мной мужчину. Маленький морщинистый старичок с сигаретой в руке смотрит на нас с жалостью и в очередной раз спрашивает: «Ну что мне вам сказать? Лучше вы говорите». Он кажется неприветливым и уже от нас уставшим, хотя мы только что вошли. Я лихорадочно придумываю, что бы сказать, но ничего разумного в голову не приходит, и я делаю вывод, что, раз и другие не отзываются, у всех та же проблема… И так мы сидим, переглядываясь, время растягивается до бесконечности, а в маленькой светлой комнате только тишина.

Раньше я его не знала, прочитала одну книжку, кое‑что в Интернете, просидела с ним в одном помещении больше часа и за это время выдавила несколько с трудом составленных фраз, а от него мы слышали только «угум», которое обо всем говорило.

Хотя он назвал нас «школой молчальников» и в этой гостиной не раз прозвучали слова: «лучше уже идите» или: «не знаю, что вам сказать», я уверена, что он не хотел, чтобы мы уходили. Он знал, что нам сказать. Было в нем что‑то «эдакое» – единственный в своем роде, западающий в память блеск жизни в усталых глазах. У него была харизма и сила, которой не хватает каждому из нас.

Марек Эдельман был Герой, но он не хотел, чтобы его так величали. Он не считал себя кем‑то необыкновенным. Скромный старый человек с хитрой улыбкой, сигаретой в одной руке и стаканчиком виски в другой.

Мария Каркоха, 1‑й класс лицея, 16 лет

На свете есть много людей, которых мы знаем по первым страницам газет, из Интернета и новостей. Некоторые – национальные герои, другие – политики, третьи – обычные граждане. Одним из таких людей был Марек Эдельман. Я много читал о нем в газетах, и мне было интересно, какой он.

В начале 2009 года я в составе школьной экскурсии побывал у него дома в Варшаве. Я очень хорошо помню этот визит. Пан Эдельман казался человеком загадочным и одновременно мудрым. Он неохотно отвечал на вопросы о гетто и восстании. Предпочитал говорить о современности, о наших планах, интересах и так далее. Его слова были искренние и суровые. Он прямо говорил то, что думает и во что верит, не боясь, что о нем подумают другие. Видно было, какой он смелый и решительный человек.

Мне это внушило большое уважение.

Когда я узнал о его смерти, мне стало очень грустно. Но я счастлив, что успел с ним познакомиться.

Память о нем останется у меня в сердце до конца жизни.

Михал Галушка, 1‑й класс гимназии, 14 лет

Трудно излить все мысли, воспоминания, размышления о человеке, который для тебя образец, на белый лист бумаги, поверить мысли пустой машине, пластиковым клавишам, электронной картинке, техническим изобретениям… Это все равно что писать новую историю, создавать ее наново с необязательно объективной точки зрения. Всеобщая история запомнила его, для него нашлось место на ее страницах, но не об этом мне хочется говорить.

Представим себе старого учителя, человека очень мудрого, с большим опытом, готового поделиться тем, что знает. Напротив него стоит даже не ученик, мечтающий о той же самой профессии, а юнец, вдохновленный личностью и поступками Учителя. Юнец задает вопросы, не очень продуманные, щенячьи, попросту глупые, но разве молодым не свойственно ошибаться? Учитель мог бы вообще не отвечать, но он хочет помочь мне найти свой путь. Он кричит, но в его сухом тоне – заботливость. Он кричит, но говорит: «А теперь слушай внимательно, потому что я даю тебе совет, а это лучшее, что я могу дать; послушай и стань благоразумнее, умнее».

Именно таким учителем для меня является Марек Эдельман. Я был тем юнцом, которому довелось с ним встретиться и задать вопрос. Да, вопрос был не очень умным, но я получил на него ответ: именно этот вдохновляющий окрик. Это и был совет, который он дал мне и только мне. Так что Эдельман – образец для подражания и герой.

Эта встреча была для меня такой же важной, как и его поведение во время восстания и позиция врача.

Я окончательно убедился в том, что Эдельман – герой и что я хочу идти путем, подобным его пути, – хочу быть врачом.

Михал Василевский, 3‑й класс лицея, 18 лет

###### Вислава Шимборская

Я познакомилась с Ним мимоходом, на каком‑то многолюдном веселом сборище.

У меня не было ни времени, ни оказии, чтобы сказать Ему то, что я хотела сказать и что говорю только теперь, слишком поздно: когда я думаю о мужественных и хороших людях, он в моих мыслях занимает очень важное место.

## Благодарности

Основная часть этой книги – полная (иногда лишь отредактированная) запись бесед, которые мы целую неделю вели с Мареком Эдельманом, уже заканчивая работу над его биографией и одновременно – пользуясь случаем – над созданием документального фильма о нем.

Нам казалось, что все это будет просто.

Но хотя мы хорошо знали Эдельмана и он к нам привык, да и журналистский опыт у нас немалый, та декабрьская неделя 2007 года была одной из самых трудных в нашей профессиональной карьере.

Наш герой принадлежал к числу людей, которые хорошо понимают – или, по крайней мере, так утверждают, – как выглядит фильм и о чем он должен быть. Поэтому все наши заранее составленные планы – сценарные, постановочные, режиссерские – вызывали в лучшем случае его насмешки. В лучшем случае…

Честно говоря, в какой‑то момент даже запахло угрозой, что съемки будут прерваны. Но фильм все‑таки был снят; без него не было бы этой книги. А фильма не было бы, если бы не съемочная группа, благодаря которой мы продержались. Это: оператор Пётрек Треля, звукорежиссер Бартек Богацкий, ассистент оператора Яцек Стшелецкий, бесценный администратор и великолепный фотограф Пётрек Усс‑Вонсович. Ну и, конечно, Паула Савицкая, друг Марека Эдельмана, которая, как могла, сглаживала острые углы…

Особая благодарность монтажеру Петру Змыслёному, который вынужден был все наши «схватки» просмотреть и смонтировать.

Сам фильм делался при поддержке телеканала TVN (особая благодарность Эдварду Мищаку и Ярославу Поташу), города Лодзи (мэр Ежи Кропивницкий с большим уважением – это было взаимно – относился к Мареку Эдельману), а также Польскому институту киноискусства (спасибо Агнешке Одорович за доброжелательность).

Но самая важная персона в кино – режиссер. Артур Венцек «Барон» – человек, у которого всегда рождаются блестящие идеи; это он предложил расспрашивать Эдельмана в свете заповедей Декалога. Однако и он признался, что этот экзамен был для него единственным в своем роде.

Потому что сам Эдельман был единственным в своем роде?

1. Эдит Штайн (1891–1942), в монашестве Тереза Бенедикта Креста – немецкий философ, католическая святая, монахиня‑кармелитка, погибшая в Аушвице из‑за своего еврейского происхождения. [↑](#footnote-ref-1)
2. Здесь: важная персона *(нем.).* [↑](#footnote-ref-2)
3. В Польше после студенческих волнений в марте 1968 г. была развязана направляемая правительством антисемитская кампания, в ходе которой польских евреев объявили «пятой колонной» израильского сионизма. [↑](#footnote-ref-3)
4. «Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме» – книга Ханны Арендт (1906–1975), немецко‑американского философа, политолога и историка, основоположника теории тоталитаризма, присутствовавшей на суде над немецким военным преступником Адольфом Эйхманом. [↑](#footnote-ref-4)
5. Лех Александр Качинский (1949–2010) – президент Польши (2005–2010), мэр Варшавы (2002–2005), один из создателей партии «Право и справедливость»; погиб в авиакатастрофе в Смоленске (10.04.2010). Ярослав Александр Качинский (р. 1949) – политик, лидер партии «Право и справедливость», премьер‑министр Польши (2006–2007); брат‑близнец Леха Качинского. [↑](#footnote-ref-5)
6. Поминальная молитва. [↑](#footnote-ref-6)
7. 10 июля 1941 г. на оккупированной немцами территории польские жители местечка Едвабне (Белостокская область, тогда БССР) согнали в овин и заживо сожгли около полутора тысяч своих еврейских соседей. [↑](#footnote-ref-7)
8. Леон Пинскер (1821–1891) – врач, общественный деятель, лидер сионистского движения Ховевей Цион. [↑](#footnote-ref-8)
9. Бунд (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России) – еврейская социалистическая партия, действовавшая в России, Польше и Литве с 90‑х гг. XIX в. до 40‑х гг. XX в. [↑](#footnote-ref-9)
10. Агуда – международная ультраортодоксальная еврейская организация (основана в 1912 г.). [↑](#footnote-ref-10)
11. Адам Черняков (1880–1942) – инженер, в 1930‑е гг. – сенатор Польши, в 1939–1942 гг. возглавлял юденрат Варшавского гетто. Узнав о том, что нацисты планируют массовую депортацию евреев в лагерь уничтожения Треблинка, покончил жизнь самоубийством. Юденраты – административные органы самоуправления, действовавшие в каждом еврейском гетто на оккупированных территориях. [↑](#footnote-ref-11)
12. Раввин Нахман из Брацлава (1772–1810) – основатель брацлавского хасидизма, для своих последователей навсегда оставшийся единственным «истинным цадиком» (отсюда их прозвище – «мертвые хасиды»). [↑](#footnote-ref-12)
13. Умшлагплац *(нем.)*  – перевалочный пункт в гетто, обычно площадь или другое открытое место, где решалось, кого отправить на смерть, а кто еще годен для работы. В Варшаве для упрощения депортации была проведена специальная железнодорожная ветка, соединявшая Умшлагплац с основной железной дорогой. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ханна Кралль. Опередить Господа Бога. М.: Текст; Книжники, 2011. [↑](#footnote-ref-14)
15. Бог с нами *(нем.)*  – девиз на гербе Германской империи; с XIX в. широко использовался в немецких войсках (в частности, был начертан на пряжках ремня). [↑](#footnote-ref-15)
16. Schutzbund – «Союз обороны» *(нем.),* военизированная организация Социал‑демократической партии Австрии, созданная в 1923 г. для самообороны членов социал‑демократических и рабочих организаций от вооруженных отрядов хеймвера («Союз защиты родины») – националистического военизированного объединения. [↑](#footnote-ref-16)
17. ЭТА *(баск.* ETA, Euskadi Та Askatasuna – «Страна басков и свобода») – баскская леворадикальная националистическая организация сепаратистов, выступающая за независимость Страны басков (создана в 1959 г.). [↑](#footnote-ref-17)
18. Максимилиан Мария Кольбе (1894–1941) – польский священник‑францисканец, погибший в Освенциме, святой мученик, добровольно пошедший на смерть ради незнакомого человека. [↑](#footnote-ref-18)
19. Тадеуш Рыдзык (р. 1945) – католический священник, редемпторист, основатель и директор «Радио Мария» – ультраконсервативной радиостанции, пропагандирующей идеи ксенофобии и антисемитизма. [↑](#footnote-ref-19)
20. Речь идет о попытках создать на территории концлагеря в Освенциме монастыря кармелиток, что вызвало протест еврейских общин в разных странах Европы, посчитавших, будто это послужит искажению исторического факта, что главными жертвами нацистов были евреи. [↑](#footnote-ref-20)
21. Еврейская боевая организация (сокращенно ЖОБ: Żydowska Organizacja Bojowa), созданная в Варшавском гетто в 1942 г. и объединившая почти все подпольные военные организации, кроме сионистов‑ревизионистов. [↑](#footnote-ref-21)
22. Имеются в виду ортодоксальные евреи, неукоснительно соблюдающие основные законы иудейской веры. [↑](#footnote-ref-22)
23. Книга М. Эдельмана, написанная и опубликованная в 1945 г. [↑](#footnote-ref-23)
24. «Солидарность» – независимый самоуправляемый профсоюз, созданный в 1980 г. и возглавляемый Лехом Валенсой; после введения в Польше 13 декабря 1981 г. военного положения до 1988 г. продолжал действовать нелегально. [↑](#footnote-ref-24)
25. Обиходное название членов польских националистических организаций (от Национально‑демократической партии). [↑](#footnote-ref-25)
26. Паула Савицкая – деятель демократической оппозиции в ПНР, председатель правления общества «Открытая Речь Посполита» (независимое объединение против антисемитизма и ксенофобии), друг Марека Эдельмана (в ее семье он провел последние месяцы жизни), записавшая с его слов и опубликовавшая книгу «И была любовь в гетто» (М.: Мосты культуры/ Гешарим, 2010). [↑](#footnote-ref-26)
27. Юзеф Роман Рыбицкий (1901–1986) – филолог‑классик, участник польского движения Сопротивления, один из создателей правозащитной организации КОР (Комитет защиты рабочих; 1976). Анеля Зофья Стайнсбергова (1896–1988) – юрист, общественный деятель, адвокат во многих политических процессах. [↑](#footnote-ref-27)
28. Восстание началось 19 апреля – в пасхальную неделю 1943 г., и за стеной гетто люди веселились, крутилась карусель, играла шарманка. [↑](#footnote-ref-28)
29. «Акция у Арсенала» – 26 марта 1943 г. неподалеку от здания варшавского Арсенала группа членов подпольной харцерской (скаутской) организации «Серые Шеренги» отбила у гестаповцев одного из своих руководителей Янека Бытнара (подпольный псевдоним – Рыжий) и еще 25 политзаключенных. [↑](#footnote-ref-29)
30. Армия Крайова (АК) – военная организация, действовавшая в 1942–1945 гг. в оккупированной Польше; подчинялась польскому эмигрантскому правительству в Лондоне. [↑](#footnote-ref-30)
31. Стефан Павел Ровецкий (подпольный псевдоним – Грот; 1895–1944) – командующий АК (февраль 1942‑июнь 1943); казнен в Заксенхаузене. [↑](#footnote-ref-31)
32. Владислав Бартошевский (р. 1922) – историк, публицист, дипломат, государственный деятель, участник Варшавского восстания, обладатель почетного звания Праведник народов мира. [↑](#footnote-ref-32)
33. Охранник в тюрьме или концлагере (от нем. Wachmann – караульный). [↑](#footnote-ref-33)
34. Шмальцовниками называли людей, которые вымогали у скрывающихся евреев и помогающих им поляков деньги, угрожая донести на них оккупационным властям. [↑](#footnote-ref-34)
35. Виктор Альтер (1890–1943) – инженер, публицист, член ЦК Бунда, член исполкома Второго Интернационала, дважды был арестован по приказу Сталина. Расстрелян в СССР. [↑](#footnote-ref-35)
36. Польский комитет национального освобождения – временный орган исполнительной власти Польши (21 июля‑31 декабря 1944 г.), созданный как просоветское временное правительство на освобожденных советскими войсками территориях и состоявший в основном из польских коммунистов. [↑](#footnote-ref-36)
37. Людвик Тадеуш Варынский (1856–1889) – революционер, основатель Интернациональной социально‑революционной партии «Пролетариат» (1882 г.). Мечислав Недзялковский (1893–1940) – политик, социалист, одно время сторонник Пилсудского, впоследствии в оппозиции. Зигмунт Заремба (1895–1967) – политик, социалист, в годы немецкой оккупации участник Сопротивления. [↑](#footnote-ref-37)
38. Людвик Видершаль, Марцелий Хандельсман (оба еврейского происхождения), Халина Крахельская – сотрудники отдела информации главного штаба АК, деятели демократической партии «Стронництво демократычне»; в 1944 г. Видершаль был застрелен, Хандельсман и Крахельская выданы гестапо. [↑](#footnote-ref-38)
39. Винцентий Ян Руткевич (1906–1945) – коммунистический деятель, участник Сопротивления, в 1943 г. был арестован, пережил Освенцим, но в апреле 1945 г. погиб в Заксенхузене. [↑](#footnote-ref-39)
40. Институт национальной памяти (ИНП) – государственное историко‑архивное учреждение, занимающееся изучением деятельности органов госбезопасности ПНР в период 1944–1990 гг., а также органов безопасности Третьего рейха и СССР с целью расследования преступлений против польских граждан в этот период. В соответствии с «Законом о люстрации» в 2007 г. на сайте ИНП была начата публикация списков граждан, сотрудничавших с органами госбезопасности, что вызвало резкую критику со стороны части польского общества. [↑](#footnote-ref-40)
41. Тадеуш Мазовецкий (р. 1927) – политик, один из лидеров движения «Солидарность» и первый посткоммунистический премьер‑министр Польши (1989–1991). [↑](#footnote-ref-41)
42. Лех Валенса (р. 1943) – политический деятель, руководитель независимого профсоюза «Солидарность», президент Польши (1990–1995). [↑](#footnote-ref-42)
43. Забастовки рабочих летом 1980 г. закончились подписанием 31 августа в Гданьске так называемых Августовских соглашений между забастовочным комитетом и правительственной комиссией; ключевым условием этих соглашений была гарантия прав рабочих на создание независимых профсоюзов и на забастовки. «Круглый стол» – переговоры между правительством и оппозицией (6 февраля – 4 апреля 1989), завершившиеся подписанием соглашения, главными пунктами которого были: проведение свободных выборов, введение поста президента и верхней палаты сейма. [↑](#footnote-ref-43)
44. Бронислав Геремек (1932–2008) – политик, историк; министр иностранных дел (1997–2000), депутат Европарламента; был противником люстрации. [↑](#footnote-ref-44)
45. Юзеф Мацкевич (1902–1985) – писатель и публицист; был убежденным антикоммунистом и вместе с тем врагом узкоэтнического польского национализма, за что подвергался нападкам как справа, так и слева. [↑](#footnote-ref-45)
46. «Укрепление духа» – почерпнутое из романов Генрика Сенкевича (1846–1916) понятие, ставшее символом веры поляков в национальное возрождение. [↑](#footnote-ref-46)
47. Тадеуш Коморовский (подпольный псевдоним Бур; 1895–1966) – генерал, один из руководителей, а с июля 1943 г. командующий Армией Крайовой, руководитель Варшавского восстания. [↑](#footnote-ref-47)
48. Владислав Эугениуш Сикорский (1881–1943) – военный и политический деятель, во время Второй мировой войны главнокомандующий Польскими вооруженными силами и премьер‑министр лондонского правительства в изгнании. [↑](#footnote-ref-48)
49. Ежи Турович (1912–1999) – журналист, публицист, многолетний главный редактор католического общественно‑культурного еженедельника «Тыгодник повшехны». [↑](#footnote-ref-49)
50. Абраша (Авраам) Блюм (1905–1943) – инженер, деятель Бунда, один из организаторов подполья в гетто, участник восстания. [↑](#footnote-ref-50)
51. В городке Зелёнке в 1943 г. были выданы немцам и расстреляны пятеро участников восстания в гетто. [↑](#footnote-ref-51)
52. Юрек Блонес (1924–1943) – деятель Цукунфта (левая молодежная организация Бунда), во время восстания руководил группой ЖОБа. Зигмунт Залман Фридрих (1911–1943) – деятель Бунда, инструктор боевой организации Бунда и ППС‑левицы. [↑](#footnote-ref-52)
53. Келецкий погром (4 июля 1946 г.) – самый крупный послевоенный еврейский погром в Польше, устроенный антисемитски настроенным польским населением города Кельце. [↑](#footnote-ref-53)
54. Михал Клепфиш (1913–1943) – инженер, деятель Бунда, в ЖОБе отвечал за вооружение. [↑](#footnote-ref-54)
55. По приказу Гиммлера (11 июля 1943 г.) в развалинах гетто (вдоль ул. Генсьей) был устроен концлагерь, куда свозили евреев из разных лагерей Польши и европейских стран; их заставляли разбирать развалины в поисках ценностей. [↑](#footnote-ref-55)
56. Мордехай Мариан Анелевич (1919–1943), начальник штаба Еврейской боевой организации, руководитель восстания в гетто, покончил самоубийством в бункере на Милой улице. [↑](#footnote-ref-56)
57. В 1978 г. группа связанных с оппозицией ученых и деятелей искусства основала Товарищество научных курсов (ТНК), которое организовывало независимые лекции и дискуссии; в рамках ТНК действовали т. наз. летучие университеты. «Летучий университет» – историческое название: в конце 1880‑х гг. в Царстве Польском для борьбы с русификацией стали создаваться тайные учебные заведения, в которых велось преподавание польского языка, истории и культуры. [↑](#footnote-ref-57)
58. Пнина Гриншпан‑Фример (р. 1923) – боец ЖОБа, участник восстания в гетто, связная в Варшавском восстании. Живет в Израиле. [↑](#footnote-ref-58)
59. Казик Ратайзер (сейчас Симха Ротем, р. 1924) – боец и связной ЖОБа, выводил уцелевших повстанцев из гетто каналами; участник Варшавского восстания. Живет в Израиле. [↑](#footnote-ref-59)
60. Речь идет о Еврейской боевой организации (ЖОБ). [↑](#footnote-ref-60)
61. Армия Людова (АЛ) – военная организация Польской рабочей партии (ППР). Действовала в 1944 г. на оккупированных территориях, пользовалась поддержкой СССР, своей целью провозглашала восстановление польского государства с коммунистическим руководством. [↑](#footnote-ref-61)
62. Яцек Куронь (1934–2004) – политик и государственный деятель, выдающийся деятель антикоммунистической оппозиции. [↑](#footnote-ref-62)
63. Пистолет‑пулемет Шпагина. [↑](#footnote-ref-63)
64. Мечислав Мочар (1913–1986) – государственный деятель, генерал, в 1964–1968 гг. – министр внутренних дел. Организатор антисемитской кампании, начавшейся после подавления студенческих демонстраций в марте 1968 г. [↑](#footnote-ref-64)
65. Цивья Любеткин, «Целина» (1914–1978) – член Еврейской боевой организации, участница Варшавского восстания. В 1946 г. уехала в Палестину. Жена Антека Цукермана (см. прим. 73). [↑](#footnote-ref-65)
66. Удостоверение личности на оккупированной немцами территории, «аусвайс». [↑](#footnote-ref-66)
67. Фольксдойче – в годы фашистской оккупации восточноевропейских стран лицо, внесенное в специальный список граждан немецкого происхождения и обладавшее значительными привилегиями по сравнению с автохтонным населением. [↑](#footnote-ref-67)
68. Алина Марголис‑Эдельман (1922–2008) – жена Марека Эдельмана; с 1968 г. жила во Франции. [↑](#footnote-ref-68)
69. Адина Бляды‑Швайгер (1917–1993) в гетто работала ассистентом в туберкулезном отделении детской больницы Берсонов и Бауманов. [↑](#footnote-ref-69)
70. Юзеф Анджей Шеринский (Шенкман; 1892–1943) – крещеный еврей, руководитель еврейской полиции гетто. Активно содействовал нацистам в организации депортации в концлагеря, в выдаче гестапо деятелей подполья. 21 сентября 1942 г. был ранен двумя выстрелами из пистолета командиром одной из боевых групп Израэлем Каналом (это были первые выстрелы в гетто). [↑](#footnote-ref-70)
71. Речь идет о начавшемся 14 января 1945 г. наступлении войск 2‑го Белорусского фронта на двух плацдармах севернее Варшавы (освобождена 17 января). [↑](#footnote-ref-71)
72. Отряды народного ополчения, созданные по приказу Гитлера в последние месяцы войны. [↑](#footnote-ref-72)
73. Антек Ицхак Цукерман (1915–1981) – сионистский деятель, член штаба Еврейской боевой организации, во время восстания в гетто – связной с АК, участник Варшавского восстания. После войны уехал в Палестину, основал в Израиле кибуц им. Героев гетто. [↑](#footnote-ref-73)
74. Генрик Волинский (1902–1996) – юрист, полковник Армии Крайовой, работал в Бюро информации и пропаганды главного штаба АК, собирал для польского эмигрантского правительства информацию о положении евреев в оккупированной Польше. [↑](#footnote-ref-74)
75. Принудительное изъятие чего‑либо (экспроприация). [↑](#footnote-ref-75)
76. Лешек Колаковский (1927–2009) – философ, эссеист, публицист, прозаик. В 1968 г. вынужден был эмигрировать, с 1970 г. жил и работал в Англии. [↑](#footnote-ref-76)
77. Барбара Скарга (1919–2009) – философ, историк философии. [↑](#footnote-ref-77)
78. Невдалеке от деревни Треблинка в 80 км от Варшавы немцами были устроены два концентрационных лагеря: Треблинка‑1 (так называемый трудовой лагерь) и Треблинка‑2 (лагерь смерти). [↑](#footnote-ref-78)
79. Гвардия Людова – военная организация Польской рабочей партии, действовавшая на оккупированной территории в 1942–1943 гг.; 1 января 1944 г. была преобразована в Армию Людову. [↑](#footnote-ref-79)
80. «Жегота» – подпольный Совет помощи евреям, существовавший с декабря 1942 г. вплоть до освобождения Польши в январе 1945‑го и финансировавшийся представительством польского правительства в изгнании («Делегатура»), Бундом и Еврейским национальным комитетом. В. Бартошевский был одним из учредителей и деятелей «Жеготы». [↑](#footnote-ref-80)
81. Владислав Гомулка (1905–1982) – партийный и государственный деятель, генеральный секретарь ЦК Польской рабочей партии (1943–1948), первый секретарь ЦК Польской объединенной рабочей партии (1956–1970). После жестокого подавления выступлений рабочих в 1970 г. был вынужден уйти в отставку. [↑](#footnote-ref-81)
82. Хапер – ловец *(идиш).* Для сравнения: в Российской империи указом 1827 г. еврейские общины обязали отдавать в рекруты определенное количество детей начиная с 12 лет; главы общин во избежание недобора нанимали специальных хаперов, заманивавших или даже похищавших детей, чьи родители не отдавали их добровольно. [↑](#footnote-ref-82)
83. Леопольд Унгер скончался 20 декабря 2011 г., уже после выхода польского издания этой книги. [↑](#footnote-ref-83)
84. Хелмно – первый нацистский лагерь смерти (1941–1945) в оккупированной Польше, предназначенный для уничтожения евреев и цыган. [↑](#footnote-ref-84)
85. Эльжбета Гражина Боруцкая‑Куронь (1940–1982) – активный деятель оппозиции, жена Яцека Куроня. [↑](#footnote-ref-85)
86. После введения в Польше военного положения в ночь с 12 на 13 декабря 1981 г. сразу же были интернированы лидеры «Солидарности», активисты с особо важных предприятий, сторонники движения «Солидарность» из интеллигенции (по официальным данным более 5 тысяч человек). [↑](#footnote-ref-86)
87. Мордехай Хаим Румковский (1877–1944) – польский промышленник еврейского происхождения, во время оккупации Польши – глава юденрата Лодзинского гетто. [↑](#footnote-ref-87)
88. Недочеловек *(нем.* Untermensch) – расистско‑евгенический термин из идеологии национал‑социалистов; использовался нацистской пропагандой по отношению к «людям низшей расы» – евреям, цыганам и славянам. [↑](#footnote-ref-88)
89. Концентрационный лагерь Аушвиц близ городка Освенцим представлял собой комплекс из трех лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 (Биркенау, или Бжезинка) и Аушвиц 3. [↑](#footnote-ref-89)
90. Марек Эдельман перед войной был связан с бундовской детской организацией (СКИФ), принимал участие в работе с беднейшими еврейскими детьми из варшавского района Аннополь. [↑](#footnote-ref-90)
91. Во время визита Аденауэра в СССР в сентябре 1955 г. на переговорах речь, в частности, шла о последних десяти тысячах немецких военнопленных. В ответ на вопрос канцлера Хрущев закричал, что они «все уже в гробах лежат». [↑](#footnote-ref-91)
92. Владислав Шпильман (1911–2000) – польский пианист и композитор еврейского происхождения. С августа 1944 г., после побега из гетто, прятался среди развалин Варшавы; скрыться от облав незадолго до прихода советских войск ему помог немецкий офицер Вильгельм Хозенфельд, потом попавший в советский плен. По книге воспоминаний Шпильмана режиссер Роман Полански снял фильм «Пианист» (2002). [↑](#footnote-ref-92)
93. Юзеф Курась (подпольный псевдоним Огонь; 1915–1947) в годы оккупации воевал с немцами, в 1945–1947 гг. боролся с новой властью: его отрядом были уничтожены более сотни сотрудников органов безопасности – польских и советских, несколько десятков евреев и много мирных жителей Подгалья. [↑](#footnote-ref-93)
94. Национальные вооруженные силы (НВС) – подпольная военная организация националистического толка, действовавшая во время оккупации и в первые послевоенные годы. [↑](#footnote-ref-94)
95. Леопольд Окулицкий (1898–1946) – генерал, последний командующий Армией Крайовой (окт. 1944 – янв. 1945). В феврале 1945 г. был арестован НКВД; погиб в тюрьме. [↑](#footnote-ref-95)
96. ППС – Польская социалистическая партия (1892–1948). [↑](#footnote-ref-96)
97. УБ – министерство общественной безопасности (1945–1954), известное также под названием Управление безопасности, как назывались его структуры на местах. [↑](#footnote-ref-97)
98. Бернард Гольдштайн (1889–1959) – один из руководителей Бунда, организатор и командир отрядов самообороны (бундовской милиции), инструктор боевой организации Бунда и ППС‑левицы. [↑](#footnote-ref-98)
99. Зигмунт Виталис Заремба (1895–1967) – социалистический деятель, публицист. [↑](#footnote-ref-99)
100. Тихо‑темные – бойцы Польских вооруженных сил (военные формирования, созданные осенью 1939 г. за пределами Польши и подчинявшиеся лондонскому правительству в изгнании), которых сбрасывали на парашютах на оккупированную территорию с целью борьбы с немцами и помощи польскому движению сопротивления. [↑](#footnote-ref-100)
101. Зигмунт Хенрик Берлинг (1896–1980) – генерал, командующий 1‑й армией созданного в СССР в 1943 г. Войска Польского. [↑](#footnote-ref-101)
102. Польская рабочая партия (ППР) – коммунистическая партия Польши, восстановленная после роспуска в 1938 г. и под этим названием существовавшая в 1942–1948 гг. [↑](#footnote-ref-102)
103. Часть границы государства между пропускными пунктами. [↑](#footnote-ref-103)
104. Стефан Вышинский (1901–1981) – римско‑католический епископ, кардинал (с 1953 г.), примас Польши (1948–1981). [↑](#footnote-ref-104)
105. В курсе *(фр.).* [↑](#footnote-ref-105)
106. Добровольный милицейский резерв (1946–1989). [↑](#footnote-ref-106)
107. Аппарат для поддержания дыхательной деятельности у пациентов с парализацией дыхания; в настоящее время не используется. [↑](#footnote-ref-107)
108. Проведенная в 1948 г. массовая акция по борьбе с венерическими заболеваниями. [↑](#footnote-ref-108)
109. Иван Александрович Серов (1905–1990) – деятель советских спецслужб, председатель КГБ СССР (1954–1958); в 1944 г. был назначен советником НКВД при министерстве общественной безопасности Польши, руководил арестами командиров Армии Крайовой. [↑](#footnote-ref-109)
110. Юлия Бристигер (1902–1975; прозвище Кровавая Луна) – жена сионистского деятеля Натана Бристигера, до войны тайный агент Коминтерна в Польше, в годы сталинизма одна из самых влиятельных и жестоких сотрудников Управления госбезопасности Польши; прославилась как фанатичный руководитель борьбы с Церковью и патриотически настроенной интеллигенцией. [↑](#footnote-ref-110)
111. В Польше в 30‑е гг. для студентов еврейского происхождения выделялись особые скамьи в последних рядах аудиторий. [↑](#footnote-ref-111)
112. Ян Томаш Гросс (р. 1947) – польский социолог, живущий в США, автор, в частности, книг «Соседи» (об уничтожении в 1941 г. поляками евреев – жителей местечка Едвабне) и «Страх» (об антисемитизме в Польше в первые послевоенные годы). [↑](#footnote-ref-112)
113. Лешек Хердеген (1929–1980) – актер и литератор, друг Славомира Мрожека. [↑](#footnote-ref-113)
114. Стефан Корбонский (1901–1989) – политик, юрист, представитель польского правительства в изгнании на оккупированной территории (март‑июнь 1945). [↑](#footnote-ref-114)
115. Юрек Арье Вильнер (1917–1943) – участник подпольного движения Сопротивления в гетто, представитель ЖОБа на арийской стороне и связной с АК, участник восстания в гетто. [↑](#footnote-ref-115)
116. Ян Карский (настоящая фамилия Козелевский; 1914–2000) – участник польского движения Сопротивления, тайный курьер польского правительства в изгнании; от него впервые (в конце 1942 г.) мир узнал об истреблении нацистами польских евреев. [↑](#footnote-ref-116)
117. Юзеф Циранкевич (1911–1989) – государственный и политический деятель, премьер‑министр ПНР (1947–1952 и 1954–1970), председатель Государственного совета ПНР (1970–1972); во время войны узник Освенцима и Маутхаузена. [↑](#footnote-ref-117)
118. Павел Финдер (1904–1944) – польский коммунистический деятель, первый секретарь Польской рабочей партии (1942–1943); был арестован гестапо и казнен. [↑](#footnote-ref-118)
119. Мария Руткевич (1917–2007) – деятельница коммунистической партии; в декабре 1943 г. была как радистка была заброшена из СССР на территорию оккупированной Польши, в сентябре 1943 г. арестована, летом 1944 г. освобождена; после войны руководитель секретариата ППР и ПОРП, секретарь правления Союза польской молодежи, главный редактор издательства «Искры». [↑](#footnote-ref-119)
120. Варшавская тюрьма Павяк; во время немецкой оккупации – следственная и пересыльная тюрьма; после образования в 1940 г. гетто оказалась на его территории. [↑](#footnote-ref-120)
121. «Ангелли» (1838) – поэма в прозе Юлиуша Словацкого (1809–1849). [↑](#footnote-ref-121)
122. Уголовная полиция *(нем.).* [↑](#footnote-ref-122)
123. Имеется в виду песня «По светлой стороне жизни» Елени Тзока – польской певицы греческого происхождения. [↑](#footnote-ref-123)
124. Ежи Попелушко (1947–1984) – римско‑католический священник, капеллан и активный сторонник профсоюза «Солидарность». Был убит сотрудниками Службы безопасности МВД Польской народной республики. Мученик Католической церкви, причислен к лику блаженных (2010). [↑](#footnote-ref-124)
125. Рышард Куклинский (1930–2004) – полковник Войска Польского и американской армии; сотрудничал с ЦРУ, в 1981 г. бежал из Польши, за измену родине в 1984 г. был приговорен к смертной казни; в постсоциалистической Польше реабилитирован. [↑](#footnote-ref-125)